

ISS № 0130-3600

04905940
8023010033



ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ

10

1985

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

საქართველოს
წიგნების გამომცემი
101033

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- АННА КАЛАНДАДЗЕ.** Стихи. Перевел Владимир Еременко 3
- ВАНО ЧХИКВАДЗЕ.** Рассказы. Перевел Карло Хучуа 8
- АВТАНДИЛ КУРАШВИЛИ.** Стихи. Перевели Зоя Велихова и Игорь Булкаты 28
- ИОРАМ ЧАДУНЭЛИ.** Рождественский бал. Роман. Перевела Нора Нейман 32
- ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ.** Природа. Окончание 64

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

- ГЕОРГИЙ МЕРКВИЛАДЗЕ.** За высококонрастного современного героя. Перевел Эдуард Елигулашвили. 98
- АННА ФАЛИЛЕЕВА.** Тифлисский Печорин. Первый русский роман, напечатанный в Тифлисе 129
- ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ**
- ТАМАРА ЦИНЦАДЗЕ.** Какого цвета американская культура 138

10
1985

ВЛАДИМИР МИРОШНИЧЕНКО. Знамя на
рейхстаге



К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ

МАРИЯ ФИЛИНА-РАМИШВИЛИ, ЕЛЕНА КИАСАШВИЛИ. «Солнечному поэту Тициану Табидзе...» 161

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ
ЦИУРИ ХЕТЕРЕЛИ. Патардзеули, родимый очаг 177

ИСКУССТВО

ГЕННАДИИ ДЕМИН. Если сличить силуэты . 205
ЛЮДМИЛА КЛОДТ. Обращение к фотографии. 217

ХРОНИКА 223

◆

Редакция журнала «Литературная Грузия» поздравляет Анну Каландадзе с присуждением Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели за 1985 год и желает ей новых творческих успехов.

◆

Анна КАЛАНДАДЗЕ

ЛАНДЫШ

Сердце раскрою, едва зацветешь,
И затворю, едва облетишь.
Как мы близки друг другу, и все ж
Я тоскую, а ты грустишь.
К баловням неба и луговин
Щедры луна и зной.
И навсегда только шаг один
Между тобой и мной.

●

Только заушает филин из дальних ущелий,
Там, где луна заседала долину лучами,
Плач пастушонка прольется, как слезы свирели,
В сердце печали.
Грусть ли, обида? О чем он?
Звезда заблестала,
Небо внимало мечте ее — знает и скроет —
Мудрое, вещее, тайное небо ночное...
Филин закличет, и дрогнут далекие скалы.

О, ЕСТЬ НЕЧТО...

Дрожащая яблоня носит над лугом узорные тени,
и любящий шепот самшита за полем
наполнен луною.
И ветер вступает, и звезды несет
от Машрика к Магрибу,

и с низким поклоном уходят светила
за край окоема.
И жадные к ласкам рассветные розы
пылают любовно,
целуя холмы... И одетая в росы вступает окрестность.
Все шепот и щебет, все щебет и шепот, все шепот
и щебет.
Да в синие травы роняет кулик одинокую тайну...
О, есть непостижное в том, что рождает
глубокую думу.



А в сердце скал заглядывали вы?
Здесь вещий свет струится под рукой,
Здесь неделимы, втайне от молвы,
Журчанье дней, бессмертье и покой.
Здесь дух сокрыт, презревший сон и страх,
Но кто б посмел сказать ему: «Лети!»
Едва сольется с небом — и во прах
Повергнет все, что встретит на пути.
А клича в бездну, вслушивались вы,
Какой земным глубинам голос дан?
Земля таит расщелины и рвы,
Ни перед кем не обнажая ран.

О, ЗНАЕТ ЛИ ПЕСТРАЯ ЦЕСАРКА?

Знает ли вольная птица,
Что сохраню я любовно
Перышко пестрое, словно
Плющ и цветы гиацинта?
Знает ли грустная птица —
Осенью небо просторно,
Солнца прохладные зерна
Трогают землю... Струится
Влажное пламя кизила...

Негу осеннего мира
Знает ли пестрая птица?

●
Ты, кто слезы принес в мой дом,
Ты, кто отнял тепло жилья,
Перед кровным моим врагом
Преклонила б колена я.
Кровь простила бы и золу,
Вести черные без числа,
И отваге твоей хвалу
В светлых помыслах вознесла.
Ты свободу ласкал крылом,
Жил свободой в долине дня,
Ею выкован твой шелом,
Ею выкована броня.
Ты принес мне страданья? Пусть!
Ведь свобода звала к борьбе.
Враг мой кровный, небом клянусь,
Я бы все простила тебе.

●
Все миновало.
Взлетел и затих
Свадебный доли.
Позабывала
Гостей и родных.
Поле да поле..
Кто это рядом?!
Чей это зов —
Сердце упало!..
В полдень рябина
У края лесов
Алым пылала.

●
Мне Красоты звучали имена..
Развеяна она, растворена.
Молились ей земля и небеса,
Пред ней лучились птичьи голоса,
И свет из недр тревожил глубиной,
И столп ее сиял передо мной,
И лишь ее звучали имена..
Развеяна она, растворена.
Без имени, без знака на челе,
Повсюду — в небесах и на земле.

●

Ночь цветов дышала
Тайной лунной пыли.
Дорогая Анна,
Вы ее забыли?
Две свечи пылали
В тишине ущелий.
Вы забыли, Анна,
Анна, неужели?..
Вы меня узнали?
Смотрите открыто,
Но молчанье ваше?..
— В нем моя защита.
— Видите руины
Там, под облаками,
Дорогая Анна,
Я готова — с вами!..

— Если бы в апреле..
Слышите, в апреле!

ДАВИДУ ГУРАМИШВИЛИ

Не ты ли хлеба убирал с карталинских холмов,
В медовых лугах не твоя ли ходила коса,
А девушка та не к тебе ли спешила на зов,
И долго над рощами Ксани цвели голоса?..
Не ты ли хлеба убирал с карталинских холмов?

А ныне по горло на Ксани стоят сорняки,
Репей да колючка ликуют, шмелями звеня.
К тебе ли на грудь под рубаху текли ветерки,
Твои ли подошвы росой обдавала стерня?
По горло мужчине на Ксани стоят сорняки..

Вон дуб одинокий раскинулся, в небо влеком,
Вот солнце скользит, виноградники тронув едва,
И вновь твоя тень наклоняется над родником,
Но властвует жажда, и в сердце сгорают слова.
Твой дуб одинокий безмолвствует, в небо влеком...

Родные вершины хранят ли молчанье твое,
Тоске безголосой судьба ли порог обрести?
Цветок неприметный, должно быть, почуял ее,
К воде склонился, да так и застыл на пути.
Судьба ли тоске безголосой порог обрести,
Родные вершины хранят ли молчанье твое?..



По сизым ущельям тебя уводили, вели
По тропам-обрывам, где в небо вращает гранит.
Ужели доныне звезда в Ламискана глядит
Твоими глазами сквозь дымку рассветной земли?..

ВЕСНА

Я келью затворила от тебя
И сердцу запретила ликовать,
А ты слепишь цветами миндаля —
И нет предела силе гулевой!..

Горы заплакали...

Слезы — непрошенно!

Грусть мне завещана

елями мглистыми.

Мечутся брошены,

брошены, брошены

Листья за листьями...

Белые рощи

сквозь черное крошево

Небо восславили

муками истыми!

Новые, новые

брошены, брошены

Листья за листьями...

Перевел Владимир ЕРЕМЕНКО



Рассказы

Перевел Карло ХУЧУА

ГАБО

ПРИШЕЛ и февраль. Дх-
нувший ветерок возмутил
снежный покой, а нал-
тевшие ветры взбудоражили заочеченвшие ветки.

— Холодно! — каркает охрипшая ворона, кружась над макушками деревьев, словно черное, трепещущее охлопье сгоревшей газеты.

Стужа загнала в дома больших и малых.

Февраль дует-надувает,
Март обновки нашивает...

«Дует-надувает» напоминает мне о кузнечных мехах; мехи — о лезгинах-лудильщиках, об их навьюченных низкорослых лошадях с намерзшим на хвостах льдом: вон они переминаются с ноги на ногу, привязанные уздечками к колу забора.

Вихри метут по двору из конца в конец. Нехотя тв-
кает наша собака, не сводя с пришельцев глаз.

Не знаю, на каком языке разговаривает бабушка с черными, спустившимися с гор мужчинами, которые раз-
махивают руками и смотрят из-под надвинутых на лоб папах беспросветно черными, как ночь, глазами.

Рядом со мной к окну прилип Габо; открыв рот, он пристально следит за незнакомцами.

— Разбойники они!

— Какие тебе разбойники — лудильщики!

— Это тебе так кажется, — толкает он меня, — а



им не надо ни золота, ни серебра, ни скотины — они де-
тей воруют.

— Боишься?

— Я не маленький... Мне председатель сказал, что я уже жених, — Габо провел пальцем по пушку над верхней губой.

— Тоже мне жених нашелся!.. Кто за тебя пойдет?

— Но, но! — Габо грозно сверкнул на меня глазами и тут же смягчился. — Знаешь, с кем я вчера познакомился?

— С кем?

— Вот эти, — он показал на лезгин, — гнались за ней с мешком, а я ее спас. Вот будет, если они увидят меня тут! Ее-то я надежно спрятал в сене.

— Ври больше...

— Чем тебе поклясться?!

— Ладно, ладно, а дальше?

— По правде, я с ней не вчера познакомился, мы с самого лета встречаемся. Она каждый вечер приходит ко мне в сарай: постучит, я открою, а она стоит с ромашками в руке.

— Сейчас же зима!

Габо призадумался, озадаченный, но тут же рассмеялся:

— Я сам не верил, откуда, думаю, в поле цветы, сейчас там все вымерзло. Потом присмотрелся получше — они прямо из ее ладони растут.

— Нашел дурака! — смеюсь я.

— Сначала я сам чуть не спятил, но ты же знаешь: цветы любят тепло, а у нее такие жаркие руки, удивительно, почему в них земляника не созревает... Вдруг она прибегает, плачет. За ней эти гонятся, беснуются... Но я оставил их с носом — посадил ее рядом с собой на Цикара¹ и айда... Видел бы ты, как они гнались за нами!.. Мы на Никицкаро² и айда... Видел бы ты, как они гнались за нами!.. Ты на Никицкаро был?

— Нет.

— У ее родителей там замок. Влетели мы туда, они — за нами. Ее отец хлестнул их плеткой и превратил обоих в собак, а лошадей -- в кошек. Собаки с

¹ Цикара — сказочный бык.

² Никицкаро — название горы.

кошками набросились друг на друга, насилиу мы их разогнали... А мне они закатили пир на весь мир. Уговаривали остаться, но видят, что я ни в какую, накрутили мне на ослон камней-самоцветов, золота-серебра и отпустили домой.

— А говорил, что в сене ее спрятал!..

— Обманул, в сене они бы ее сразу нашли по запаху цветов... У них нюх, как у ищеек, — Габо погрозил лезгинам кулаком. — Когда я уходил от них, она сказала, что опять придет и принесет цветы лучше прежних.

— А самоцветы куда дел?

— Ты же знаешь, сердце у меня сердобольное, встретились мне по дороге беззащитные вдовы и сироты, я им все и роздал...

Бабушка договорилась с лезгинами. Все трое прошли в сарай. Сначала вынесли оттуда большую корзину с углем, потом мешок и поставили их у ворот. Бабушка пригласила гостей в дом. Те помялись, затем, потирая руки, последовали за ней.

— Ну, Габо, настал твой последний час.

— Они же вчера собаками были, откуда им помнить меня? — взяв кочергу, Габо сел у печки...

Лезгины улыбались нам своими белыми зубами. Они стащили папахи, отряхнули их и присели на трехногие табуретки.

Бабушка открыла стенной шкаф и вынула бутылку водки.

Затем открыла буфет, передала мне хлеб и сыр, размотала заплесневевшую банку с маринадом, вытащила из нее пророзовевшую от свеклы соленую капусту и нарезала в алюминиевой миске.

Гости ели с аппетитом. Вскоре они заметно повеселели и заговорили по-своему, непонятно для нас.

— Разбойники они!

— Габо, не сходи с ума! — строго бросила бабушка.

— Вот когда его, — Габо указал на меня, — похитят, тогда поверите мне!

— Пусть похищают, все равно он каждый день изводит меня!

— Я не позволю им, не позволю! — Габо судорожно затряс кулаком.

Гости что-то поняли. Морщась от напряжения, они

переводили вопрошающий взгляд с Габо на бабушку.

А Габо вскочил, хлопнул дверью и вылетел за ворота.

— Угощайтесь, угощайтесь! — бабушка знаками показала им, что мальчик нездоров.

Гости облегченно перевели дыхание. Старший из них поднял стакан и улыбнулся мне:

— Расти!.. Ты хорош мальчик... Хорош!..

Другой сказал, что у него в горах тоже есть маленькие.

— Сколько им? — заинтересовалась бабушка.

Лезгин поднял меня на ноги. Сначала провел ладонью над моей головой, затем опустил руку к поясу и наконец зачмокал губами — дескать, один старше меня, второй — младше, а третий — совсем сосунок.

— Дай им бог здоровья! — благословила бабушка и посмотрела на другого. — А у тебя есть?

— Меня?.. Меня, — он выставил растопыренную пятерню.

— Смотри-ка, пятеро!

— Да, пят... пят!.. — обрадовался лезгин, что его поняли, и указал на меня. — Один?

— Пока один, — бабушка любовно прижала меня к себе.

— Много... Много надо! — осуждающе покачал головой гость.

В это время влетел Габо с растрепанной книгой под мышкой. Негнущимися от холода пальцами он полистал ее:

— Вот, тут написано про разбойников... И картинка есть: эти двое драных лезгин похитили маленькую девочку¹..

— Эта история, Габо, случилась в старое время, — сказала бабушка, взглянув на книгу.

— Они все равно лезгины, что в старое, что сейчас... Спустятся с гор, схватят и...

¹ Имеется в виду хрестоматийный рассказ Иакоба Гогешашвили «Колыбельная», в котором говорится о девочке, похищенной лезгинами и много лет спустя узнавшей свою мать по колыбельной песне.

— Успокойся, Габо!

Но моего друга невозможно было унять. Отчаянно жестикулируя, он пересказывал содержание рассказа и при этом так зло смотрел на гостей, что до них, понимавших отдельные грузинские слова, дошла наконец причина его возбуждения, и они заерзали на табуретках. Согласно кивая головами взвинченному подростку, лезгины будто подтверждали, что все так и случилось, но они тут ни при чем. Оба наших гостя стали такими жалкими и несчастными, они так умоляюще смотрели на меня, что у меня сердце перевернулось. Я вырвал у Габо книгу и швырнул ее к порогу.

— Уходи, сумасшедший!

Габо оторопел. Он не ожидал, что я оборву его. Глаза Габо наполнились слезами, пальцы прижались к трясущимся губам. Потом, подобрав книгу, от которой отлетел переплет, он снова зажал ее под мышкой, отворил дверь и поплелся прочь, как побитая собачонка.

Лезгины сидели, будто окаменевшие. Они с сожалением покачивали головами — не знаю, сочувствуя ли Габо или осуждая недостойные действия своих предков.

С той поры миновал не один февраль. наших лезгин я больше никогда не встречал, а полоумного деревенского пастуха Габо давно уже нет на этом свете. И все же, стоит мне увидеть девочку с цветами, мне представляется, что она торопится к другу моего детства, а цветы эти не сорваны где-то, а растут прямо из ее ладони.

ПО ПУТИ

У АХАЛСОПЕЛИ женщины вышла, и в автобусе осталось двое. Габриэл

подал ей корзинку с хлебом, захлопнул дверцу и решил не садиться. Устроившись на ступеньке, он достал папиросу.

«Дай-ка и мне», — жестом попросил шофер.

Обледеневшая дорога подбрасывала автобус. В хвосте его что-то душераздирающе скрежетало. Расшатанные сиденья подпрыгивали, будто порывались встать, но их одергивали.

В третьем ряду сидела женщина, похожая на озлобшего воробья. Шофер присмотрелся к ней в зеркальце и показал Габриэлу большой палец — ничего не скажешь, хороша!

Габриэл улыбнулся — и он, дескать, не слепой, — и глубоко затынулся.

Женщина недовольно взглянула на папиросный дым.

«Вредная привычка, но ничего не поделаешь, мадам», — Габриэл покосился на ее презрительно поджатые, в розовой помаде, губы, потом перевел взгляд на подбородок и белую шею, выглядывающую из развязанной шали. Не обошел вниманием и пухлые пальцы в перстнях, ухватившиеся за спинку переднего сиденья. Все говорило за то, что их хозяйке не приходилось ни лущить кукурузу, ни печь хлеб. Они были ухоженные, сладкие как конфетки, созданные для одной ласки.

«Надулась, — Габриэл отвел глаза. — Побриться бы не мешало... Так она и бросилась тебе, бритому, на шею!.. Нет, такую нельзя пускать одну. Знает ли ее муж, сколько сердец она ранит? Держал бы ее взаперти, нечего других с ума сводить! — на кого-то взъелся в душе Габриэл. Этот «кто-то» представился ему утонченным, обходительным щеголем городского пошиба, и еще более корявым и неказистым показался он сам себе.

«Человеческое сердце ненасытно, может быть, ее муженек на другую заглядывается», — Габриэл снова исподтишка взглянул на пассажирку и ощутил приятное тепло в вялых от водки ногах.

Женщина опять недовольно поморщилась.

«И смотреть на вас не смей, мадам!» — рассердился Габриэл и отвернулся.

Автобус едва вполз на подъем. Не добравшись до канала, он в очередной раз вильнул, поехал юзом и угодил задними колесами в кювет.

Они уже сошли, но в ушах Габриэла все еще звучал панический вскрик женщины.

— Не дотянули до деревни! — в сердцах махнул рукой шофер.

— Нам-то что делать?

— Выше еще хуже. Хоть бы песком посыпали.

Шофер достал короткую лопатку, подрубил лед, от-

греб крошево — «может, не будет буксовать». Автобус взревел, задергался.

«Пойду, скоро стемнеет», — решил Габриэл, но испуганное лицо женщины остановило его.

— Глуши! — крикнул он шоферу и сам взялся за лопату.

Телогрейка сковывала движения, он снял ее, намереваясь бросить на снег, но женщина взяла ее и перекинула через руку. Габриэл был счастлив — о его выцветшей, пропахшей табаком одежке заботится прекрасная, недоступная женщина. Он ощутил в себе такой прилив сил, что казалось, его разорвет, не выпусти он пары.

Габриэл сражался с твердым как камень льдом, крошил его лопатой, отгребал, отбрасывал снег, и ему представлялось, что поставь ему на спину этот драндулет-автобус, он играючи поднимет его.

— Давай, газуй! — Габриэл воткнул лопату в снег и смахнул пот со лба.

— Простудитесь! — женщина накинула на него телогрейку.

— Всегда в жизни, я, сударыня, закаленный!.. Правей бери, правей! — закричал он, чтобы скрыть волнение.

Автобус выбрался на дорогу.

— Обратно поедете? — спросил шофер, адресуясь к женщине, и с нескрываемым интересом уставился на нее.

У Габриэла даже сердце остановилось — дать бы ему как следует!

— Как это «обратно»?

— Выше еще хуже, если бы я цепь захватил...
Прошу вас!

— А вы? — женщина посмотрела на Габриэла.

— Тут трех километров нет...

Женщина задумалась:

— Почти приехали... Можно, я с вами?

— Как вам угодно...

— Ну, решайте быстрее!

Габриэл вынес ее сумку.

Женщина завязала вокруг шеи концы шали, и они пошли.

Смеркалось на глазах. Туман плыл навстречу.

— Вы к кому приехали?

— К Баидошвили.

— К которому?

— К Придону.

— А-а, знаю, знаю! Мы не чужие, он крестный моего парня.

У мельницы они оставили шоссе в стороне. Габриэл свернул, а женщина, ничего не зная тут, следовала за ним, но, заметив, что они идут по какой-то целине, она в сомнении приостановилась:

— Мы, кажется, сбились с пути.

— Срезаем, перевалим через тот пригорок — вот вам и деревня.

— Звери не нападут? — спросила она, давая почувствовать, что опасается не только зверей.

Габриэл уловил намек, недоуменно улыбаясь, обернулся к спутнице — что это, дескать, вам в голову пришло?

Женщина поняла его:

— Пойдемте, делать нечего!

Широко и мощно шагая, Габриэл враскачку торил дорогу в снегу; упирающийся в спину взгляд женщины жег его как уголь, и он старался избавиться от этого прожигающего до костей огня, одолеваемый желанием прикоснуться к маленьким пухлым ладошкам, которые дрожащая от холода женщина прятала в карманах.

«С какой стати я с ней связался, шел бы себе один... Есть у меня время с ней возиться!.. Ну разве не заслуживает ее муж веревки, если заглядывается на другую?! Эхе-хе!»

— Я больше не могу, не поспеваю за вами!

Женщина заметно отстала.

«Совсем я спятил... Несусь, как буйвол безмозглый».

Габриэл подождал ее. Приблизясь, она поскользнулась, села в снег, вытащила из кармана свою холеную руку и протянула ее за помощью.

Габриэл шутя выдернул спутницу из сугроба.

Женщину подкупила его сила, глаза ее благодарно посветлели, смеясь и ничуть не робея, она выпрямилась и открыто взглянула на подавшегося к ней мужчину,



который, того и гляди, сгребет ее, подхватит на руки, утопая в белом, искрящемся снеге.



МОЩНЫМИ

Она вздрогнула, вырвала руку, стиснутую крупными пальцами:

— Пойдемте!

— Да, пошли! — отозвался Габриэл. — Слабые вы, городские... Поглядите на наших — скотина, сад с огородом, семья...

— Я бы, право, не выдержала.

— Вот я и говорю, силенок у вас маловато.

Если бы кто-то мог заглянуть в душу Габриэла — все его симпатии были на стороне этой слабенькой. Хотя какая там слабенькая, у него вон шея, как у волка, одеревенела, скрутила она его, связала, будто сыромятным ремнем.

Они вышли к кладбищу.

При виде покосившихся крестов, часовни и огромного, занесенного снегом орехового дерева у женщины обмерло сердце. Она кинулась к Габриэлу, инстинктивно ухватилась за его руку, вцепилась в нее, словно в единственную надежду в этом царстве смерти.

Страх спутницы рассмешил Габриэла:

— Вот здесь, — он указал на край осевшей плиты, — покоится мой дед. Тут — бабка. Надоест им лежать на спине, выкарабкиваются наружу, садятся на плиты и зовут меня: «Габриэл, поднимись к нам, расскажи, что на свете делается!». А иногда...

Поблизости раздался страшный вой. Женщине почудилось, будто два горящих глаза сверкнули из-за часовни и кто-то вот-вот вцепится ей в спину.

Она вскрикнула, в поисках укрытия юркнула под распахнутую телогрейку Габриэла и, трясаясь, прижалась к нему.

Габриэл вздрогнул — «хоть бы палку захватил!» — но, ощутив теплое порывистое дыхание женщины, преисполнился такой отвагой, что, покажись сейчас волк, он бы погнался за ним и разорвал его пополам.

— Не бойтесь... Зверь сам опасается человека... — сдавленно произнес он, не решаясь обнять ее. Габриэл понимал, что потом уже не выпустит ее... Нервы напряглись до предела.

— Эге-ге-ей! — закричал он мощным голосом, скорее для того, чтобы прийти в себя, нежели поугаждать этого шатуна. — Эге-гей! — пугал Габриэл пробудившегося в нем голодного зверя... Как ему хотелось распусть на ней шаль, уткнуться в ее шею, вдохнуть и жадно впитывать чудесное тепло. Потом подхватить на руки драгоценную ношу и бежать с ней, бежать, покуда не разорвется сердце...

Женщина опомнилась. Она поняла, что ее голова лежит не на груди мужчины, а на горячих кузнечных мехах, отпрянула и торопливо пошла вперед.

Вздых Габриэла будто подсек ее ноги, она едва не упала...

— О боже, сколько я натерпелась! — облегченно вздохнула она, когда они вышли на проселочную дорожку.

«А каково было мне?!» — хотел сказать Габриэл, но вместо этого зачерпнул пригоршню снега и провел им по разгоряченному лицу.

ЛОШАДЬ НАГРУЖЕННАЯ хворостом

двуколка въехала во двор, колесо с железной шиной уперлось в камень, лошадь натужилась, заелознигла в оглоблях, но не смогла сдвинуть повозку и, свесив губу, замерла в неведомом ожидании. У задних копыт скапливалась желтоватая вода, собираясь в лужицы, вздувающиеся бока лошади покрылись испариной... За двуколкой вошел Гио с топором под мышкой. Дед схватил плащ.

— Иди погрейся, я сам разгрузу! — закричал он из дому. В ответ на голос Гио только насунился, сердито швырнул топор и полез на двуколку.

— Не слышишь, что тебе говорят?! — дед сдернул с копыльев веревку и перекинул ее на ту сторону повозки. Мокрая веревка, змеясь, мелькнула в воздухе и повисла на заборе.

— Оставь меня в покое! — недовольно пробурчал Гио и вытер покрасневший нос о рукав.

Они молча сгружали хворост. Дед укладывал вязанки под навесом, рядом с тонэ.

Снег одолевал изморозь. На днище горшка, криво висящего на заборе, росла белая пирамидка снега.

Обойдя пустую двуколку, я подобрал мелкие сучья.

Гио увел лошадь в конюшню. Дед уже выскреб бревенчатый пол и ссыпал в ведро заметенный в угол навоз.

— Гио, санки...

— Только мне и думать о твоих санках! — окрысился на меня Гио. — Мотай отсюда, не путайся под ногами!

Я отступил к деду и дернул его за рукав — скажи, мол, ему...

— Ты с чего не в духе? — Дед стряхнул пыльную тряпку и принялся протирать лошади бока. Выжимаемая из шерсти вода стекала в желобки пола. — Не слышишь, что говорят?

— С чего мне быть не в духе, устал да и всё!

— Устал — отдохни.

— Отдохнешь с вами!

— Э-э, выпороть тебя не мешало бы, да пороть некому.

Лошадь фыркнула, будто соглашаясь с дедом, подобрала губами торчащие изо рта лохматушки сена и принялась жевать.

Дед выжал тряпку и подошел к лошади с другого бока. Она встрепенулась и дрыгнула ногой.

— Что же это ты натворил? — на ляжке лошади проглядывала кровавая потертость величиной с ладонь.

— Откуда я знаю, оглоблей, наверное...

— Сам ты оглобля!

— Отвяжитесь от меня. Чуть ли не на себе пришлось тащить, надорвался к черту! — Перестав ворошить сено, Гио запустил грабли в угол. — Говорил же, продадим ее, вконец состарилась, еле ноги волочит.

— Продадим? — дед испытующе поглядел на него.

— А что делать, ждать, пока она околеет?

— Продадим, сынок, непременно продадим. Мы с матерью куда нужны тебе, а там накинь на нас веревку и веди на живодерню, — дед выкрутил тряпку и резко стряхнул ее.

— Много за вас дадут!



— Э-э, пустобрех, — дед схватил прут, словно соби-
раясь отхлестать Гио. Тот с хохотом выскочил во двор,
от удара двери заколыхалась паутина под потолком.

— Наплачешься, когда нас не станет! — вслед ему
крикнул дед, снял с подоконника пол-литровую банку,
подцепил указательным пальцем желтоватой мази и
присел на корточки около лошади.

Снегопад усиливался. Он белой пеленой затянул окон-
це. Летят, несутся белые хлопья величиной с мою ладо-
нь. А она у меня такая, что на ней едва помещается
испуганный птенчик синицы.

И лошадь увлеклась снегом. Перестав жевать, она
вытянула шею и понюхала окно. На запотевшем от ее
дыхания стекле остался отпечаток ноздрей.

— Продадим, вот как! — Дед расчесал лошади спутанную гриву, вычесанные волосы намотал на палец, скомкал их и бросил в ведро. — Продать легко, животное, сынок, надо любить, оно вернее, чем человек, доверчивее и беспомощнее... Тем более эта. — Он обнял лошадь за шею, и щеки двух старцев потерлись одна о другую.

А я, съезжившись и зажав руки между колен, сижу на сене, и мои ноги в бумазейных штанах трясутся и стучат друг о друга...

Однажды нас подняла на ноги ругань и беготня деда. Мы бросились в конюшню — там, раскорячив ноги, лежала наша лошадь. Она, как грызла от мучительной боли доску яслей, так и окоченела, вцепившись в нее оскаленными зубами.

— Подохла? — спросил Гио, моргая опухшими от сна глазами.

— Отмучилась! — вздохнул дед. Затем, будто внезапно вспомнив что-то, взмахнул прутом, и Гио, корчась от боли, упал на сено.

— Ты с ума сошел! — бросился между ними ветеринар. — Гвоздь попался, при чем тут Гио?..

— Я знаю, что я делаю, — дед кинул прут и присел на ясли.

Ветеринар, пожимая плечами, обнял Гио и вывел его во двор.

и пыльным молчанием. В свете, сочившемся из зазоров между черепицами, постепенно проступали предметы. Первым я разглядел прялочный гребень с полуманскими зубьями. Рядом с ним притулился у столба кувшин без горлышка. Чуть дальше стоит изъеденный ларь. За ним — треснувшие горшки, дырявые кастрюли, ведра без ушек. На гвозде покачивается сточенный серп, в глубокой, продавленной корзине покоится на боку деревянный пест. В выступающее боком ярмо воткнут топорик без топорща — заржавленный, отслуживший свой век... Одним словом, сборище инвалидов...

Кто знает, может быть они ворчали втихомолку — зачем этот здоровяк пожаловал к ним. Во всяком случае, у меня создалось впечатление, что до моего прихода они оживленно беседовали, делясь тем, что случилось с ними, прежде чем они попали сюда, а с появлением здесь они знали друг о друге все до мелочей.

— Здравствуйте, бедолаги!

Никто не отозвался, только насупились еще больше. Зато из кукурузных початков, разложенных на ивовой плетенке, вынырнула мышь, засновала как угорелая и исчезла.

— Нарушил я ваш покой, ржавые и безухие, треснувшие и побитые!

И на сей раз не ответили мне. Но чувствую, глядят на меня, как живые, присматриваются. Не узнают. А я прекрасно помню их, спутников моего детства. Пока могли, они верно служили нам, но всему приходит конец: кувшин сломал голову у родника, ведра доконали тяжелая ноша и небрежность, серп сточила жатва, топор сносился, рубя дрова и остря колья.

Смотри-ка, и неугомонное прясло тоже здесь! Лежит себе в черепке рядом с веретеном, сохранившим остатки пряжи...

Жил человек по прозвищу Чита. Не думаю, чтобы он отозвался, если бы кто-нибудь вспомнил и окликнул его настоящим именем. Был он худ и тщедушен; как бывало, зачует где запах спиртного, так безошибочно оказывается там.

— Чита пришел!

— Здоровье Читы!

— Расти, Чита, большой! — насмешливо приветст-

вуют его, хотя куда расти человеку, давно вступившему в зрелый возраст?

Никто не видел его подавленным или опечаленным. А если он был нескладным и словно бы прокопченным, так в этом виновата природа. Чита никогда не унывал; хорошо ему — пел, плохо — все равно пел. Семья его состояла из могучей жены и дюжины дочерей. Когда всходило солнце, он предсказывал, что будет хорошая погода; когда западный ветер нагонял облака, и тут не подводило его чутье. «Хлынет такой ливень, всю округу затопит!»—громко, чтобы слышали домашние, вздыхал он, будто переживая, снимал с плеча мотыгу и ставил ее на место, а сам тишком улетывал из дому. Когда домочадцы спохватывались, он, уже окосев, рассматривал где-нибудь стакан, полный «живительной» влаги.

Когда компания была велика, а тамада сидел далеко, тост за Читу, затертого дюжими мужиками, не проносили (я уже говорил, что природа создала его маленьким и щуплым). Такое невнимание доводило Читу до белого каления, и он принимался честить тамаду на чем свет стоит. Когда он расходился не на шутку и пускал в ход нецензурные слова, только тогда и замечали его — это кто еще голос подает? Извинялись, конечно, но что извинения ущемленному человеку?

— Не замечаете, ни в грош меня не ставите!.. У кого из вас столько детей, как у меня, так вас и разэдак...

— Будет, Чита, успокойся, — якобы сокрушались хозяин и гости, но наш герой был непоколебим, он гордо оставлял компанию и уходил. Между нами говоря, он уже находился в том состоянии, когда душа жаждет только покоя и сна.

Итак, Чита уходил. Выйдя за ворота, он затягивал песню, беся собак и будя задремавшую деревню. Добравшись до дому, он останавливался посреди двора, не в силах совладать с заплетающимися ногами; пошатываясь из стороны в сторону, покачиваясь взад и вперед, Чита обычно кричал: «Встречайте, проклятые!». Причем

таким голосом, что все домашние мгновенно выбежали на веранду. Облокотятся о перила и ищут то место, где только что гремел и бушевал отец семейства. Шутя за-слоняют ладонью глаза, зовут его: «Где ты, покажись?!». Наконец могучая жена его сойдет во двор, сгребет его под мышку и, проклиная, внесет в дом. Злые языки поговаривали, что время от времени она устраивает супругу изрядную выволочку, но всем известно, что злым языкам верить не приходится.

Дома Чита несколько трезвел. Высвободившись из жениных рук, он становился посреди комнаты, подбочивался и спрашивал дочерей:

— А вот скажите, что моя душенька желает?

— Не знаем! — отвечали те хором.

— Танцевать, танцевать! А ну-ка, похороводим!

И они хороводили... Выкатывали из-под тахты деревянную квашню, доставали детскую гармошку с тремя клавишами, и прежде чем они успевали перевернуть квашню, чтобы отбивать ритм по днищу, прежде чем растягивали гармошку, у Читы сами собой разлетались руки... Перетанцует со всеми, расцелует каждую — растите большие!

— А теперь на боковую! — решал он наконец.

Дочери моментально окружают его, разоблачат в мгновение ока, словно кочан капусты, засунут под одеяло, подоткнут со всех сторон. Улягутся и сами, и тут начинается главное: Чита так захрапит, что дом трясется. Ворочаются домашние, накрываются с головой, затыкают уши ватой, но тщетно, громовой храп отца пробивается через все препоны.

— Чтоб ему провалиться, переверните его на бок! — не выдерживает наконец растерявшая сон жена. Дочери перевернут отца, постоят, прислушиваясь, надежно ли он затих, и, хихикая, разойдутся по кроватям...

Это прясло напомнило мне о Чите.

Стоило ему с кем-то поспорить, он, бывало, говорил:

— Отчего это, ше квириставо, ме вириставо,¹ ты так полагаешь?

Я не могу сказать, почему он считал собеседника пряслом, а себя ослиной головой, но ему очень нрави-

¹ Ты — прясло, я — ослиная голова.

лось это «крылатое» выражение, и он частенько прибе-
гал к нему...

Умер Чита, и в деревне стало чего-то не хватать, она лишилась той веселой улыбки, которая невольно раздвигала губы при появлении этого человека...

Дочери его повыходили замуж и разъехались. Только на пасху собираются вместе. Соберут свою детвору, разложат привезенную с собой снедь, зажгут свечи, окружают могилу и стоят молча, будто только что перевернули отца на бок и прислушиваются, не захрапит ли он снова, — дай им бог прожить столько, сколько пройдет, прежде чем Чита подаст голос!..

Чугунный котел тоже снесли сюда.

— И ты состарился, отслужил свое, стал ненужным! — глажу я его шероховатый бок.

И этого богатыря доконали огонь да кипятки... А как он булькал в свое время, как подзадоривал нас — несите миски, потянитесь со мной, если вы настоящие едоки. Тогда наши обеды и ужины не отличались разнообразием блюд, мы осаждали его с волчьим аппетитом, но разве его одолеешь — бездонным был этот трудяга, еще бы, на две семьи хватало...

Вот какую шутку выкинул он со мной... Хотя котел тут ни при чем, главным виновником был я, за что и понес заслуженное наказание.

Бабушка сварила гоми, наполнила тарелки и поставила их на стол. Затем, умяв ложкой в середине каждой, положила в ямку по кусочку то ли топленого, то ли сливочного масла.

Мы сели. Я поглядел на свою тарелку, проверил, сколько у других, мне показалось, что меня обделили, и я пожадничал — добавьте еще, этого мне мало.

— Если не хватит, добавлю, котел вои какой! — сказала бабушка.

— Сейчас добавь! — заупрямился я.

Ни она не уступает, ни я. Я соскочил с табуретки и надулся. Остальные стали меня уговаривать, но куда там — я не сдаюсь. Последнее слово осталось за бабушкой — она поставила передо мной еще одну тарелку

и пригрозила, что вывалит мне на голову все, что в ^{ниж}останется. Я удивленно воззрился на нее.

— Клянусь тобой, я не шучу! — предупредила она. Домашние смотрят на меня и улыбаются.

— Смейтесь, смейтесь, увидите, что останется! — успокоившись, я со своей ложкой сел за стол и с таким азартом приступил к делу, что наши стали опасаться вслух, как бы я до их тарелок не добрался — навалимся, братцы. Напрасно они тревожились, я и первую до половины не доел — выдохся. Чувствую, не осилить мне ее, а вторая, как назло, маячит перед носом. Запиваю водой... С трудом проглотил еще две ложки... Остановился... Не лезет, хоть плачь...

— Что я тебе говорила? — встала бабушка. — Ну-ка, выходи из-за стола!

Не ждал я такой жестокой участи, но моя бабушка слов на ветер не бросала. Взяла она мою непочатую тарелку и всю кашу из нее вывалила мне на голову. Я остолбенел, но когда теплое масло потекло за шиворот, не выдержал и с ревом кинулся к зеркалу... Врагу своему не пожелаю того, что я увидел в нем... Нет, ты этого не представишь, как ни старайся, вот погоди, начнешь привередничать, я опрокину тебе на голову тарелку с манной кашей, тогда ты поймешь, каково было мне.

— Теперь пошли, пройдемся по деревне, пусть все полюбуются, до чего доводит жадность! — бабушка взяла меня за руку.

Это меня убило окончательно. Я же говорил, что она слов на ветер не бросает, и, конечно, не отступилась бы от своего, если бы не вмешались домашние. Они начали умолять бабушку простить меня, хватит, мол, с него и того, что он перед нами осрамился, не стоит его позорить перед всеми. «Ради нас прости, мы его берем на поруки», — уговаривают они, а сами, как посмотрят на меня, так и прыскают со смеху.

— Раз вы просите, я готова его простить, но не дай бог такое повторится... — бабушка не закончила. Какой позор ожидал меня в следующий раз, видимо, нельзя было ни передать словами, ни описать пером...

К счастью, такое больше не повторилось. Да и могли я позволить себе что-либо подобное, когда наверняка знал, что в следующий раз бабушка не ограничится



нашей деревней, а вытащит меня и в город, чтобы опозорить перед всем миром.

Я получил свой урок, а мучиться пришлось бабушке — с огромным трудом она отмыла мои волосы от каши...

Этот котел помнит все, он — свидетель моего позора, и кто знает, может быть, до сих пор потешается надо мной в душе...

Смахнув с ярма пыль, я присаживаюсь на него. Вытаскиваю топорик. Разглядываю его на ладони — одна ржавчина. Было время, он гордился своей проворностью, но с той поры утекло много воды...

Топорик напомнил мне одну очень грустную историю. Даже не знаю, рассказывать ее тебе или нет... Пожалуй, расскажу.

Его подарил мне дядя. «Довольно тебе играть с большим топором и тупить его, вот тебе маленький, легкий, он твой, и делай с ним все, что хочешь», — сказал он и даже наточил топорик.

Я побежал показать его друзьям. Мой топорик переходил из рук в руки. Ребята на него не наглядятся. Особенно он понравился соседскому сыну, голубоглазому Лексо.

— Меняемся на санки? — шепнул он мне на ухо.

— Зачем нам меняться? Мы всегда вместе, будем рубить по очереди, — сказал я.

— Хочешь, пойдем в лес?

— Пошли! — согласился я.

Дело было ранней весной. На деревьях только что появились листья.

Выкатили мы тачку, ухватились за ручки и повезли ее по проселочной дороге. Выехали за околицу, с трудом втащили тачку на склон и остановились у опушки леса. Мы не стали забираться далеко, передохнули немного и принялись рубить кустарник. Срубленное укладывали на тачку, добавили хвороста, подобранного поблизости, обвязали веревкой и покатали тачку под гору. Этот топорик так воодушевил нас, что, несмотря на усталость, мы договорились завтра снова прийти сюда.

А наавтра...

Лексо заболел ночью. Позвали бабушку. Я увязался за ней. Мы вошли в комнату — бледный Лексо лежит в постели.

Друг через силу улыбнулся мне:

— Как же завтра, я же не смогу с тобой в лес?..

— Ничего, поправишься, тогда...

— Без меня не поедешь?

— Как же я один справлюсь с такой тяжелой тачкой?

Мой ответ удовлетворил его.

Бабушка заглянула ему в глаза, потом осмотрела спину и грудь.

— Кажется, квавили,¹ — сказала она матери Лексо, опуская на нем задранную до подбородка рубашку.

— Квавили, квавили, — повторил Лексо, — что такое квавили?

— Ты что, квавили не знаешь? — засмеялся я.

— Как не знаю — фиалки, подснежники, мак, ромашки разные...

— Не вытаскивай руки, Лексо... А ты пересядь подалее, — сказала мне его мать, высокая, печальная женщина, и положила на лоб больному мокрое полотенце.

У него и вправду оказалась «квавили». Но не цветы, о которых мы думали, красивые, разноцветные, украшающие поля и луга, радующие глаз и обоняние. За два дня мой друг исхудал и ослабел. Жар извел его, доконал, и на третью ночь, перед первыми петухами, Лексо не стало...

И весна пришла какая-то невиданная. Даже камни будто зацвели. На гнилом пне расползся мох, в трещинах церковной стены зелеными, прерывистыми полосками показалась трава, на вывернутых пластах земли целыми клубками грелись дождевые черви... Все и вся дышало, кроме маленького мальчика с бескровными уже губами... Выброшенная из могилы земля была рассыпчата и холодная, а сама могила пугала невыносимой глубиной...

Тогда я еще не знал, что люди уходят навсегда и уход их — такой же таинственный и необходимый процесс, как и появление на свет. Но я чувствовал всю тяжесть

¹ Квавили — цветок, так же называется и оспа.



несчастья, которое пришло, навечно заморозив только что раскрывшуюся почку...

Меня забила дрожь. Я выбрался из толпы и принужден был вернуться домой...

Когда вернулись наши, я уже метался, одолеваемый жаром. Они испугались, а вдруг у меня тоже «квавили», и кинулись за врачом, присутствовавшим на похоронах. Тот осмотрел меня:

— Во всем виноваты испуг и нервы. Он, видимо, эмоциональный ребенок. Скоро все пройдет.

Тогда я впервые услышал слово «эмоциональный» и не мог понять, хорошо это или плохо.

«Бедный Лексо даже в тонэ боялся спуститься, какво ему сейчас одному?» — думал я, пока не уснул...

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что моего друга нет. Сколько раз, бывало, подбегу к его дому, чтобы позвать, но вдруг вспомню о случившемся и, прикусив язык, с тяжелым сердцем плетусь обратно.

Когда я вспоминаю об этой давнишней истории, у меня по сей день наворачиваются слезы на глазах. Не удивляйся, случается, что и взрослые плачут, притом горше, чем дети...

Я воткнул топорик обратно в ярмо. Огляделся. Пыльные лучи, как трещины, рассекали темноту. Я знал, что зайдет солнце и ночь замажет эти трещины. Умолкнет кладбище старья, и веселые звезды опустятся на черепицу.



В МИГ ВОСХОДА

От земли,
Что для жизни живой не остыла,
Сквозь туманную дымку
Восходит светило.

И с сиянием
Яркою золота споря,
В ослепительном мареве
Сонное море.

От пустынных утесов,
Из бездны ущелий
В миг восхода
Лучи золотые взлетели.

Где покос,
На просторе сквозном, над лугами
Семимильными
Солнце проходит шагами,

Над стремнинами речек,
Беззвучною ранью
От воды вознося
Наземное сиянье.

С четырех неизвестных
Сторон наплывая,
Веет снова над миром
Заря молодая.

От полуночных гор
Прямо к небу, взгляните,
Через сердце натянуты
Звонкие нити.

Тихо шепчется ветер
С колосьями хлеба:
Это песня земле
От высокого неба.



ПИСЬМО С ФРОНТА

Примчавшись простором бескрайним и древним
Из ярких пожаров и тьмы,
Забилось оно о ворота деревни
Среди безымянной зимы.

Где только по свету его ни носило,
Никто не отыщет дорог,
Солдатскою кровью его оросило,
Намокнул слезами листок.

Летел треугольник письма фронтового,
Как птица, над грозной войной,
Чтоб вестью скупого и краткого слова
Поведать о смерти одной...

Ему приоткрыли глухие ворота
Поземок стенающих нить,
Когда оставляет деревню забота
И некуда вроде спешить.

СКАЗКА

Старая сказка неспешно идет
Нивой во время посева.
Птицею вьется весь день напролет,
Жатвы внимая напеву.

Светится на опустевших полях
Легкой рассвета слезою
И растворяется в полупотьмах
К лесу скользящей тропею.

Древняя наша, ты отблеск мечты,
Гулкой истории повесть,
Здесь волшебство и реальность слиты,
Мудрость народа и совесть.

Где только всадник твой не побывал,
Вечная наша, святая,
Темные силы разя наповал,
Правду и свет охраняя.



Цокот копыт раздается во мгле —
Это твой конь легкокрылый
По необъятной свободной земле
Мчит с неизбывною силой.

А на рассвете сказаний тропа
Веет дождей ароматом,
Где проплывает бесшумно арба,
Спелым полна виноградом.

УТРО

Отхлынули ночные сны,
И диск ползет в зенит.
И паутина тишины
Прохладую сквозит.

И утра воздух напоен
Густым настоем рос,
И меч ветров не занесен,
И в маразе покос.

Блуждает по пригоркам пар,
Свежа густая тень,
Еще не жжет лучей пожар
Просторы деревень.

Такая тишина вокруг,
Так светел утра вид,
Что скошенный недавно луг
Как бы над всем парит.

ДО КАКИХ ПОР...

«О, до каких же пор я буду спать,
И не пришло ли время пробужденья?» —
Об этом не устану вопрошать,
Вкусивши сон бесчувственный забвенья.

Но час настанет. Голос запоет,
И в платье том, что легче шелка ночи,
Она дождем сквозь мглу ко мне придет,
И взгляд зажгут живительные очи,

И разольется ровный тихий свет
От плеч. Их обнажит весенний ветер.
И вдруг пойму, что смерти вовсе нет,
И только жизнь одна и есть на свете.

Перевела Зоя ВЕЛИХОВА

ИССЯКНЕТ РЕКА...

...И звезд костры
окрылят пресловутое тело неба,
бескрайним станет пространство,
растворится и исчезнет в эфире
глянец солнца, —
иссякнет река твоих глаз...

В КОНЦЕ КОНЦОВ

Кто изваял
Тени деревьев и скал,
Кто их ваял?..

Кто вихрь заарканил, —
Чтоб концом его кисти
Вспенить голубой гребень волн?

Кто связал
И кто вышил
Хребтам островерхую кромку

И в конце концов,
Взгляд захватив
В полон,
Выбил у ветра лазурь из-под ног?..

Перевел Игорь БУЛКАТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ ————— Роман

Перевела Нора НЕИМАН

«Высокие цели, пусть и не-
осуществленные, гораздо более
драгоценны, чем осуществив-
шиеся низменные».

Гете

...БЫЛ теплый, тихий вечер одного из последних дней сентября. Мы втроем сидели на уютном балконе дома моего друга, откуда открывался чарующий вид на долину Мтквари, на все еще пышно зеленеющие сады, виноградники, ближние холмы и горы вдаль — синие, лиловые, сиреневатые, кое-где, на самом горизонте, подернутые легкой дымкой, — такие, какими бывают лишь горы Картли.

Старинные друзья, мы неторопливо беседовали о том, о сем. Вспоминали различные события — мы давно не видались и каждому было чем поделиться. И один из нас, самый старший годами, рассказал историю, которая произошла около четверти века назад и которая показала мне достойной внимания. Хотя в ней нет ни одного положительного героя, но таковым для меня был сам рассказчик — его тон, его отношение к людям и событиям.

* * *

Хозяин дома, Бено Бибилури, плотный, с выпученными глазами, пожилой, но еще полный сил мужчина, багровый от волнения, шагал из угла в угол своей гостиной.

* Печатается журнальный вариант.



Его супруга, почтенная Элисабед, сидя в кресле, горестно качала головой, то и дело всхлипывая.

— Боже мой! Мог ли я ожидать этого, — резко остваиваясь, обратился Бено к присутствующим.

— Да-а, дело скверное... — раздумчиво произнес старый друг их семьи, бывший адвокат Родам Тавхелидзе. — Однако, дорогой мой, вам не следует так отчаиваться, не все еще потеряно, ведь мир, как говорится, не соломой крыт, все можно утрясти, — утешал взволнованного друга поднаторевший в щекотливых делах старый пройдоха.

— То-то и оно, что не соломой, — отвечал Бено. — Я предпочел бы, чтобы это было именно так, никто бы тогда ничего не увидел, а теперь все как на ладони!..

Зазвенел звонок.

— Пришли, наверно! — вскочил Тавхелидзе и бросился в прихожую, но очень быстро вернулся. За ним в комнату вошли двое — здоровый верзила и сравнительно небольшого роста толстый, круглый, как шар, мужчина. Это были друзья детства хозяина дома. Толстяк, бывший мясник с Сабурталинского базара, ныне преуспевал на посту директора базы молочных продуктов. С хозяином дома его связывали годы самой нежной и сердечной дружбы. Второй гость — некто Эдишер, тоже был человеком весьма преуспевающим, но в несколько ином амплуа — он торговал рыбой и икрой.

— Будь другом, Дарчо, — взмолился Бено, обернувшись к бывшему мяснику. — Расскажи мне все, не скрывай ничего.

— А чего там скрывать, Бено-джан! Только стемне-

Иорам Габриэлович Чадунэли — автор многих романов, повестей, рассказов, знакомых грузинскому читателю. Юрист по образованию и профессии, Иорам Чадунэли всю свою жизнь посвятил служению правосудию. Работа следователя, прокурора предоставляет Чадунэли богатый материал, который и ложится в основу его про-

изведений. Все они, в том числе и публикуемый нами роман, основаны на фактах и обстоятельствах живой юридической практики. Весь пафос творчества Иорама Чадунэли направлен против все еще бытующих в нашей действительности антиобщественных явлений, против карьеризма, взяточничества, протекционизма и т. д.

ло, слышу, где-то неподалеку крик-шум поднялся, народ со всех ног бежит. Я тоже побежал, протиснулся вперед, вижу, на левой стороне улицы девушка валяется мертвая. Веришь, как взглянул я на нее, коленки от страха затряслись, такой ужас меня взял. Несчастливая вся окровавленная была...

— А все же, что люди говорили? — перебил его Бено.

— Разное говорят. Слышал я — женщина одна болтала — я, говорит, собственными глазами видела, какая машина ее ударила. Старик там стоял, тот другое рассказывал — за машиной автоинспектор погнался, непременно, мол, того негодяя нагонит. А мужчина какой-то кричал: «Я сам видел, в машине четверо парней сидело!» Как сказал он это, меня аж холодный пот прошиб, — продолжал Дарчо. — Вспомнил я, что часа два назад видел твоего сыночка с друзьями в ресторане, и крепко, скажу тебе, они там напились. Вот и подумал я, а вдруг это их машина!

— Ну, ну, потом? Что потом было?..

— Потом уже приехали следователь с инспектором. Осмотрели все, измерили, опросили свидетелей и убили.

— Ну и правильно, а что еще им оставалось делать. Люди деловые, чего же время зря терять, — уже спокойнее возразил Бено. Он скрыл от друга, что следователь с инспектором тоже были его закадычными друзьями. — Да, дело, я тебе скажу, дрян! Смерть этой девочки весь город на ноги подняла. Что делать, ума не приложу... Ну, предположим, если даже я сыном жертвую, разве это ее оживит?!

— Да, как же! Разве мертвую оживишь!

— То-то и оно, что не оживить, но что делать, Дарчо, дорогой, посоветуйте! Одна надежда на вас, ребята, придумайте что-нибудь, не дайте моей семье погибнуть, ведь если с Ревазом что случится, я этого не переживу.

— Что ты говоришь, Бено-джан! Да я за тебя душу отдам! — с горячностью воскликнул Дарчо.

— Ты же знаешь, я в долгу не останусь, за добро твое отплачу! — с многозначительным видом пообещал ему Бено. — Вот скоро освободится то место, на которое ты метил. Считай, что оно уже твое!.. Так договорились?! — хлопнул он по плечу бывшего мясника.

— Ладно уж, — застеснялся Дарчо с плохо скрытой радостью. — Теперь пора за дела, — сказал он уже иным тоном. — Не люблю пустых обещаний. Есть, Бено джан, у меня на примете один парень, думаю, он на наши условия согласится.

— Век, ребятки, вашей доброты не забуду, — проговорил растроганный Бено. — Вы ведь меня знаете, у меня слова с делом не расходятся. — В эти минуты Бено Бибилури был действительно искренним.

В полночь Родам Тавхелидзе, бывший мясник Дарчо и торговец рыбой и икрой Ношреван снова явились в дом Бибилури.

— А где мой сын? — испуганно спросил взволнованный отец.

— Не беспокойся, дорогой Бено, очень переволновался твой Рамаз, пережил, — ответил Дарчо. — Пожалел я парня и решил, чтобы ничего дурного с ним не случилось, отвез его в дом моего кума. Я ему сказал, чтобы он взял себя в руки, успокоился и ни о чем не думал.

— Ну, а что нового в нашем деле? — спросил Бибилури.

— Да, брат, за машиной, оказывается, действительно погнался автоинспектор. Как только она прошла мост, он понесся ей наперерез. Так что ребятам ничего не оставалось, как остановиться...

— Горе твоей матери, сынок! — приложила платок к глазам сидевшая все это время в горестном молчании Элисабед. — Какие вы, мужчины, бессердечные, ведь ни один из вас не подумал, что мальчик со вчерашнего дня одежды не сменил!..

Бено строго взглянул на жену и жестом приказал ей замолчать.

— ...Автоинспектор быстро во всем разобрался, — продолжал Дарчо. — По документам сообразил, что за рулем сидел твой сынок и что выпил он лишнее, но, дай бог ему здоровья, хорошим человеком оказался, шепнул Рамазу: иди, мол, укройся где-нибудь, да понадежней!

— Да уж, действительно, дай ему бог здоровья! Побольше бы таких людей! А что говорил мой сын? — спросил Бено.

— Ничего, растерялся, слова вымолвить не мог.

— Конечно, что ему, бедняге, было говорить! И откуда он мог знать, что эта несчастная ему на пути попадется! — заметил Ношреван.

— Может, парень вообще ни при чем и мы зря волнуемся?

— Какой там! Один инспектор так прямо и сказал, водитель, мол, правила уличного движения нарушил, так что, хочешь не хочешь, а арестовать его придется.

— Он, видимо, не знает, с кем имеет дело! — возмутился Бено.

— Неужели этот болван с твоим авторитетом не считается? — спросил Эдишер.

— Про него говорят, что он страдает манией честности, — с усмешкой пояснил Дарчо.

— Ладно, это мы уладим, — сказал Бено, — вы лучше мне вот что скажите: как по-вашему, будут ли милицейский инспектор и следователь держать язык за зубами?

— Пусть только попробуют не держать!

— А тот парень, вы полагаете, согласится?.. — спросил Бибилури.

— Согласиться-то согласится, да возьмет, вероятно, недешево. Он боится, как бы судья ему большой срок не припечатал, — ответил Дарчо.

— Нечего ему бояться, будет жить, как царь. Что же касается срока, — тут Бибилури на миг приостановился. — Этот вопрос мы, действительно, должны уладить заранее.

— А обо всем остальном он не пожалеет — скучать ему особенно не придется, да и еды и питья будет вдоль...

— Нам пора, — обратился к хозяину дома Дарчо.

— Идите, да не жалейте денег! — крикнул вслед уходящим Бено.

Квартира погибшей была в траурном убранстве. Прощаться с покойницей пришло множество народу. Обезумевшую от горя мать едва успевали приводить в чувство. А несчастный отец, бессмысленно глядя на людей, приходивших выразить соболезнование, повторял одну и ту же фразу:

— Нет моей бедной девочки!

— А виновного, виновного нашли?.. — спрашивали его.

— Нет! Как сквозь землю провалился, меж пальцев у милиции выскользнул!..

— Говорил я, не человек это, а ангел, настоящий ангел! — только что возвратившиеся с переговоров мужчины были в приподнятом настроении.

Стол ломился от еды и питья. Хрустальные бокалы, наполненные «Оджалеш», притягивали взгляд.

— Здорово! Я все еще не верю, что дело сладилось! — ухмыльнулся верзила.

— Так, значит, он согласился? — спросил Бибилури.

— Еще бы! Наши посулы и черта соблазнят,—засмеялся Эдишер. — Собственными ушами слышал, как парень признался, что совершил аварию, клялся, я, мол, один во всем виноват, а следователь этот тоже порядочный олух.

— Ну, слава богу, теперь, надеюсь, родители погибшей успокоятся.

— А что, здорово они налегают?

— Если б мы с судьей не поладили, дело приняло бы скверный оборот!

— Да, за это восемь лет, не меньше! — вставил верзила.

— Не шути так! — рассердился Бено.

— Это нечестно, — заметил Родам. — Парень ведь согласился на пять.

— Мы свое слово сдержали, — сказал Бено. — Бибилури не привыкли нарушать данные обещания!

— Дай вам бог удачи! Да, я вот думаю, не мешало бы выразить этим несчастным соболезнование, — нерешительно проговорил Ношреван.

— Завтра непременно отправлюсь, — согласился, с минуту поколебавшись, Бено. — С родителями девочки я вообще знаком. А тебя попрошу, — обратился он к Дарчо,—сходи от моего имени в исполком, похлопочи, чтобы выделили место на лучшем кладбище, да и с расходами на похороны не стесняйся, денег не жалея!

Поздней ночью все трое — Родам, Эдишер и Дарчо — снова постучались к Бибилури.

— Все в порядке! Парень не промах, эдаким агитцем прикинулся, чистосердечно признался во всем следователю.

— Только он, сукин сын, забывчивым оказался, — заметил Родам. — Сразу никак не вспомнил место аварии.

— Меня вот что интересует, — прервал его Бибилури. — Дал, наконец, прокурор санкцию на арест?

— Эх, дорогой Бено, вы даже не знаете, какое уважение питают к вашей персоне все в городе. Разве найдется человек, который супротив вас пойдет? Тем более, что стервятники эти только и ждут, как бы им свою долю в деле заполучить. Так что придется вам не только прокурору, но и начальнику милиции должок вернуть.

— А чего они ждут?

— Как это чего, тесновато, говорят, живем, надеются квартиры с вашей помощью получить.

В комнате раздался приглушенный смех.

Внезапно открылась дверь и на пороге появился красивый, рослый молодой человек спортивного телосложения.

— Привет Рамазу! — вскочили на ноги все присутствующие.

— Сынок! — обратился Бено к вошедшему. — Поблагодари этих людей. Они сделали для тебя невозможное. Так что запомни это на всю жизнь! — и он с любовью поглядел на сына.

— Ну что вы, уважаемый Бено, — скромно возразил Тавхелидзе, тем самым напоминая хозяину о себе. — Мы только выполняли свой долг. Дня через два дело передадут в суд. Дай бог, чтобы мы вам больше не понадобились.

— Дай бог вам здоровья и счастья, мои хорошие друзья! — Бено пожал каждому из них руку и проводил до дверей.

Со стороны многие даже завидовали Бено — вот, мол, какого сына имеет! — однако внимательный человек подметил бы в Рамазе черты законченного эгоиста. И как мы убедимся в дальнейшем, родители не раз будут огорчаться по поводу тех или иных поступков своего обожаемого чада. Они прощали ему спесивость и высокомерие, объясняя это его необыкновенными спо-

способностями, талантливостью и тем, что он занят мыслями о высоких, им не доступных материях. Случалось, правда, Бено журил своего отпрыска — напоказ постронным, но, в общем, родители души в нем не чаяли, ведь сын у них был единственный (дочка в расчет не принималась, к тому же она жила отдельно, будучи замужем за неким Варламом — директором фабрики).

Вопреки мнению родителей, Рамаз не был наделен блестящими способностями, однако благодаря своей гибкости и умению добился гораздо большего, чем его одноклассники.

Он очень следил за собой, старался всегда быть в форме. На дружеских пирушках пил осторожно, в меру, но всегда щедро тратил деньги, твердо веря в их всемогущую силу.

И вот молодой Бибилури поскользнулся на жизненном пути. Сам того не желая, он стал виновником гибели человека. Пьяный, против обыкновения, до бесчувствия, он наехал на стоявшую на тротуаре девушку.

После окончания института Рамаз Бибилури заметно пополнел и стал выглядеть солиднее. Заботливый отец пристроил его ассистентом на кафедру известного ученого, правда, ученый при жизни не успел осчастливить своего молодого коллегу, но в канун двухлетия со дня смерти своего метра молодой Бибилури, успешно защитив диссертацию, снискал степень кандидата медицинских наук. Бено и тут не оплошал, устроил сына преподавателем в институт на полставки. Гордости Рамаза не было предела. Надо сказать, что он читал лекции с большим усердием, а экзамены принимал с такой педантичной скрупулезностью, что стал грозой студентов. Его уважали и боялись. У него и внешность стала весьма внушительная — сшитый год назад костюм стал ему так тесен, что расходился на спине по шву. Но, надо сказать, полнота его очень беспокоила, он злился на себя, старался меньше есть.

— Рамаз! — позвала мать, приглашая к завтраку. За стол села вся семья.

— Рамаз, сынок! — начал неторопливо отец. — Ты теперь человек самостоятельный, — на его лоснящемся

лице застыла довольная улыбка. — Но все-таки не мешало бы призадуматься над тем, что дальше? Ведь многие в твоём возрасте добились гораздо большего, чем ты. Я хочу дать тебе один дельный совет. В жизни, мой мальчик, действует неписанный закон, тот, что сильнее всех других законов на свете: ты—мне, я—тебе! — Бено искоса поглядел на сына и продолжал: — Если хочешь достичь своей цели, будь хладнокровным. Не осуждай меня за такую прямолинейность, сын, но во мне сейчас говорит любовь и страх за твоё будущее. Думаешь, если есть у тебя этих два несчастных часа в институте, это все?! Нет, дорогой, нужно действовать, иначе ничего не получится!..

— Не понимаю, отец, куда ты клонишь?

— Подожди, не перебивай, дай мне договорить.

— Прости, я тебя слушаю.

— Если ты думаешь, что тебя прокормит твоя кандидатская степень, ошибаешься, друг мой; тебе необходимо сделать карьеру. Только карьера приносит имя и благополучие.

— По-твоему, папа, бешеная энергия и гигантское напряжение сил нужны человеку лишь для того, чтобы сделать карьеру? — улыбнулся сын.

— Ты забыл, дорогой, сколько трудов и мучений понадобилось, чтобы протащить твою диссертацию. А как теперь?.. Что ты собираешься делать дальше?

— Неужели человеку нельзя прожить так, чтобы не думать о будущем? — попробовал отшутиться Рамаз.

— Послушай моего совета, сынок, ты уже не ребенок, и если ты мне поверишь, не ошибешься. Почему бы тебе, например, не познакомиться с дочерью профессора Омара Чикобава? Прекрасная, говорят, девушка, подходящая партия, женись... а там, смотришь, и перспектива откроется!

— С дочерью Чикобава? — Это неожиданное предложение удивило Рамаза Бибилури.

Нана Чикобава выделялась среди студенток института прекрасной внешностью, хорошим характером и способностями. Рамаз знал ее, но внимания на нее никогда не обращал. Теперь же слова отца пробудили в нем интерес к этой девушке. При случайных встречах в институтском коридоре либо на улице он внимательно и довольно бесцеремонно ее разглядывал. В конце концов

он загорелся неукротимым желанием поскорее с ней познакомиться. Для пущего блеска он стал ездить в своей новой «Волге», изменив привычке ходить пешком.

Как у каждой красивой девушки, у Наны не было недостатка в поклонниках, но ни одного из них она не отличала особо. Теплее, чем к другим, относилась Нана лишь к одному юноше-журналисту, который частенько напоминал ей о себе, хотя, по всей видимости, вовсе не старался завоевать ее сердце. Рамаз, обладая незаурядной настойчивостью, наконец добился своего, выискал подходящий случай познакомиться с Наной и тоже стал ее поклонником. Она все больше ему нравилась, однако он понимал, что завоевать ее сердце будет нелегко. В конце концов он так увлекся всей этой игрой, что начал чувствовать себя по-настоящему влюбленным, убедив себя, что именно Нана может составить его счастье.

У Бибилури собралось несколько человек.

После женитьбы на Нане Рамаз очень переменился, стал мягче и добрей. Этому способствовало еще одно обстоятельство. Нана ждала ребенка.

Профессор Чикобава, шестидесятилетний, крепкий еще на вид мужчина, относился к категории людей, держащихся скромно, но с достоинством. В отношениях с людьми он был ровным и справедливым и сам бесконечно верил в справедливость. Кроме единственной дочери Наны, вышедшей замуж в двадцать два года, была у него еще и племянница чуть постарше. Профессор любил ее, как родную дочь. Она тоже рано вышла замуж за человека, тогда никому еще неизвестного, некоего Манучара Баделидзе, и на судьбу свою не жаловалась. Впоследствии Баделидзе, благодаря своей изворотливости и особому таланту устраиваться, удалось выдвинуться и занять высокий пост. Однако профессор не придавал никакого значения высокой должности своего зятя Манучара, потому что превыше всего ценил и уважал в человеке добрые качества и честность, а не его общественное положение. Сидя сейчас в кресле в столовой своих новых родственников, он спокойно и без ка-

кого-либо любопытства оглядывал комнату, которую украшало множество картин и статуэток. Хотя профессор не считал себя знатоком искусства, однако он без особого труда понял, что члены этой семьи ничего не смыслят в живописи и скульптуре, что им попросту некуда девать деньги, которые они с большой охотой вкладывают во всю эту аляповатую безвкусицу.

— Я вижу, батона Омар, на вас произвели впечатлительные эти картины, вы разглядываете их с таким вниманием, — послышался ему голос Бено. Профессор смутился, словно его в чем-то уличили; он не знал, что ответить хозяину, а говорить против совести не умел.

К счастью, Бено и не интересовался ответом свата, отвернувшись от него, он обратился к Манучару Бадедидзе. Тот сидел, с элегантностью светского человека заложив ногу за ногу, дымя сигаретой, и беседовал с Рамазом.

— Раз уж ты взялся за это дело, дорогой, тебе непременно надо защитить докторскую, — наставительно говорил Манучар.

— Понимаешь, мой Манучар, в нашем институте у некоторых есть определенные привилегии и, разумеется, не только в силу научных заслуг...

— Знаю, знаю, — продолжал Манучар. — Тебе необходимо завоевать авторитет. Я тебе могу во многом помочь, разумеется, при том условии, если ты будешь человеком верным, — многозначительно улыбнулся он младшему Бибилури. — В таком деле одних родственных чувств недостаточно...

— Молодые люди, — сказал им профессор и пересел поближе к зятьям. — Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу. Верно говорят, что ученый без трудов — это бесплодное дерево. Ученый, ступивший на трудную стезю науки, не должен забывать, что лишь неустанным добросовестным трудом он сможет достичь великих целей.

Кровь прилила к щекам Рамаза. Ему показалось, что слова эти сказаны непосредственно в его адрес. Честолюбие его было уязвлено.

Беседу прервал дверной звонок. В тот же миг зазвонил и телефон. Рамаз снял трубку.

— Да, это я, Рамаз, — негромко проговорил он. — Вот неожиданность, откуда ты? Нет, я не могу, приходи

лучше ты. Буду очень рад!.. — сказал он, вешая трубку, и пояснил Манучару: — Школьный товарищ, мы не виделись сто лет!

Пришли еще гости — сестра Рамаза с мужем Варламом, солидный, представительный мужчина с семью висками — прокурор и еще один гость.

Навстречу им поспешил Бено.

— Разве зятю пристало так поступать! — воскликнул он, заключая в объятия мужчину средних лет. Потом обернулся к дочери. — И ты хороша, голубушка, как вышла замуж, отца с матерью совсем забыла!

Рамаз сердечно расцеловался с зятем и сестрой.

Бено перешел теперь к остальным вновь прибывшим гостям.

— Нет, вы только поглядите на этих блюстителей порядка, которые сейчас сами его нарушают, опаздывают и заставляют столько людей их ждать!.. Сюда, сюда пожалуйте. Ну-ка, друзья, будьте знакомы, это добрый ангел нашего дома, известный профессор Омар Чикобава, — представил гостям своего свата Бено. — Это наш прокурор, гроза врагов и благодетель друзей, батони Ростом! Это инспектор милиции Гурам Ломиа.

Перезнакомив гостей, он пригласил всех к столу.

— Тамадой будешь ты, директор, — обратился Бено к Варламу.

— Нет, увольте, сегодня черед Манучара — я ведь уже был тамадой в новогоднюю ночь! — стал отказываться Варлам.

— Мне лучше знать! — сверкнул на него глазами тесть. — А ты, Гурам, садись сюда, фамилия у тебя такая, человека от страха кондрашка хватит*, а уж как-ков ты есть на самом деле, мы сейчас поглядим.

Ломиа, улыбаясь, послушно уселся рядом с директором фабрики, с которым его уже два года связывала тесная дружба.

Опять зазвенел звонок. Рамаз поспешил в прихожую и через две-три минуты вернулся, ведя с собой нового гостя.

— Входи, входи, Отар! — пригласил он остановив-

* Игра слов: Ломиа — от груз. «ломи» — лев.

шегося на пороге друга школьных лет, который явно смутился, не ожидая застать здесь столь широкое общество. — Входи, ты как раз вовремя, — Рамаз почти насильно втолкнул его в столовую.

Сотрудник редакции одной из центральных газет, Отар прежде бывал в семье Бибилури, знал и многих из тех, кто сидел сейчас здесь за столом. И увидев среди них столь уважаемого, порядочного человека, как профессор Чикобава, удивился.

— Вот сюда! — пригласил Рамаз Отара за стол.

Отар подчинился хозяину и оказался рядом с прокурором, чье лицо живо напомнило ему о недавних служебных неприятностях.

— Мы, кажется, знакомы?.. — приятно улыбнулся ему прокурор.

— Да, батона, мы с вами хорошо знаем друг друга... — согласился Отар с соседом, который тем временем наполнил его бокал вином.

— Гены имеют решающее значение, — говорил профессор.

— Я согласен с вами, профессор, — вторил ему милейший полковник. — Я тоже придерживаюсь мнения, что ворами и разбойниками рождаются...

Профессор отрицательно помотал головой.

Прокурор сначала вытер салфеткой руки, приложил ее к тонким губам и затем заговорил с убежденностью и достоинством.

— Наше общество, — сказал он, — ведет беспощадную борьбу с преступлениями, но случается и такое, что человек рождается преступником. Конечно, по этому вопросу нет еще никаких готовых рецептов... С развитием общества меняются и объяснения причин, вызвавших то или иное преступление, и, разумеется, меняются и методы борьбы с ними.

— О, тут вы совершенно правы! — не сдержался Отар. — К примеру, комбинаторы и дельцы почему-то чувствуют себя довольно вольготно. Набивают себе карманы и мешают жить честным людям. Ведь если у такого человека есть могущественный покровитель, к нему и закон милостив. Разве мало таких фактов, когда к преступнику относятся чересчур лояльно? — Отар слегка опьянел и хотел высказать все, что думал. — Если вы собираетесь покончить с преступлениями, в

первую очередь уничтожьте протекционизм. Только так жизнь войдет в правильное русло. А ведь сегодня того, кто говорит правду, называют интриганом, а того, кто помогает преступнику, считают настоящим человеком. — Он закурил сигарету и насупился.

— Я согласна с вами, Отар! — вмешалась Нана, которая внесла в столовую вазу с фруктами и, поставив ее на стол, остановилась близ Отара. — Вы правы, некоторые субъекты так распоясались, что из страха перед ними мы не можем говорить о честности! — Нана говорила горячо, с вызовом, потом вплотную подошла к Отару и тихо сказала: — Вот ты, оказывается, какой!..

— Прости, — прошептал он и смущенно посмотрел в сторону Рамаза.

Нана улыбнулась, взяла со стола тарелку с хачапури и поднесла Отару:

— Попробуй, может, тебе понравится... ты ничего не кушаешь...

— Разумный человек, — заговорил Отар, не глядя более в ее сторону, — не станет другом преступнику, в противном случае — нет у него ни чести, ни совести, одним словом, человек, пляшущий под чужую дудку, — ничтожество! — Раздраженно махнув рукой, он встал и, не оглядываясь, вышел вон.

В столовой воцарилась гробовая тишина.

Гости, приглашенные в тот вечер в семью мужа, не понравились Нане. Но, кроме всего, одно обстоятельство показалось ей странным и больно ранило ее — Рамаз в ту ночь не переступил порога супружеской спальни.

С тех пор в их отношения закрался едва уловимый холодок.

Как-то раз, возвратясь с работы домой чуть раньше обычного, Рамаз застал мать в плохом настроении.

— Случилось что-нибудь, мама? — встревожился сын.

— Что еще, по-твоему, должно случиться, сынок, — жалобно проговорила Элисабед. — Вот гляжу я на тебя, и болит у меня душа. Мне, как и каждой матери, хотелось бы, чтобы мой сын был счастлив!

— Не понимаю, — удивился Рамаз. — Разве я выгляжу несчастным?

— Эх, сыночек, не понять тебе материнского сердца. Мать все чутьем понимает, — многозначительно сказала Элисабед и нахмурилась. — Я ведь женщина и все вижу. Не пара она тебе, и никогда не была... Я это еще раньше почувствовала.

— Что ты, мамочка, Нана такая хорошая! — пробовал успокоить ее сын. — Мне казалось, вы полюбили друг друга, — голос у Рамаза дрогнул.

Элисабед, поправляя волосы, продолжала:

— Я ведь все время за ней наблюдаю. И вот что тебе скажу: она нам чужая. Не знаешь ты себе цены, сынок, ведь с твоим умом, с твоей внешностью ты мог бы жениться на первой красавице, и богатой, а она...

— Ладно, мамочка, оставим этот разговор!

— Как пожелаешь, — обиженно поджала губы Элисабед и вышла из комнаты.

Рамаз неподвижно стоял перед зеркалом. Вдруг ему вспомнилось, что о Нане как о прекрасной партии твердил ему отец и что брак этот был своеобразным «бизнесом». «Ну и как же, — думал он, — оправдала Нана наши надежды? Нет, разумеется, дело повернулось совсем не так, как ожидали этого мы». И тут он понял застенную мысль матери, понял, почему именно мать была недовольна.

С тех пор как Манучар однажды закинул словечко о выдвижении Варлама, он потерял покой. С того дня он жил в ожидании, но держал себя так, словно уже получил пост министра.

Едва ли не больше, чем продвижение по службе, Варлама беспокоил квартирный вопрос. Его супруга, Цисана, в один прекрасный день, когда он мирно беседовал с тестем, заявила, что она больше не намерена терпеть такое, что она задыхается в тесноте, что все ее подруги давно живут в прекрасных квартирах, а она вот мучается.

Варлам с Бено были в хороших отношениях, отлично понимали друг друга, тесть был первым советчиком зятя и поверенным его тайн. И теперь Бено решил подержать Варлама (не говоря о собственной дочери, ко-

торая так «страдала» без фешенебельной квартиры).
— Что ж, — сказал Бено, — что ж, квартиру, конечно, я всегда смогу вам устроить, были бы средства. Вот, например, можно вступить в какой-нибудь солидный кооператив. М-да-а... — он помолчал и на некоторое время задумался. Потом заговорил несколько иным, деловым тоном. — Присмотрел я одно местечко, хорошие дома там строятся. Я попробую, может, что и получится. Знаешь что, доверь это дело мне, у тебя и времени нет. — Бено довольно ухмыльнулся.

Не зря Бено Бибилури считался сугубо деловым человеком — вскоре, как говорится, назло врагам, отстроилась и обставилась великолепная новая квартира Варлама.

В один из воскресных дней Варлам пригласил на загородную прогулку нужных ему людей. Следует сказать, что вообще он бывал лишь с «нужными» людьми, которых узнавал нюхом.

Приглашенные прекрасно себя чувствовали на свежем воздухе, услаждались отличной едой и питьем, обсуждали важные вопросы (у всех они были, за тем и собрались, чтобы обсуждать!), речь зашла и о Баделидзе. Его среди участников пикника не было.

— Наш Манучар, как луч света, в любую щель проникнет, — иронически заметил милицейский инспектор Гурам Ломия, молодой человек с желтоватым, болезненным цветом лица. Разумеется, милицейский инспектор был личностью неприметной. Мелюзга, — думал о нем Варлам, однако знал, что и такой маленький человек — тоже сила, тем более, что фабрика, где он директорствовал, находилась в сфере действия инспектора, а когда тот быстро и без следа прикрыл некое щекотливое дельце, директор фабрики и вовсе заужавал инспектора Ломию и порадел за выдвижение его на более высокий пост.

— Да, Манучар действительно далеко пойдет, — согласился с ним прокурор.

— Такой порядочный человек, как он, достоин всяческих благ, — кивнул Варлам, и на лице его застыла довольная улыбка. Он вспомнил, что в случае выдвиже-

ния Манучара он, Варлам, тоже получит кресло. Кроме того, было еще одно обстоятельство: почтенный директор фабрики даже самому себе боялся признаться, что его с неудержимой силой влекло к юной, стройной Русудан, сестре Манучара Баделидзе. При встрече с этой девушкой его охватывало неизъяснимое волнение, и хотя он хорошо понимал, что поддаваться этому чувству было непростительной глупостью, ничего не мог с собой поделать.

В памятный день, когда случилась эта история, Варлам отправился в гости к Манучару пешком — он был личностью хорошо известной в городе, его черную машину знали почти все. Погруженный в собственные мысли, директор фабрики и не заметил, как вошел в подъезд, поднялся на нужный этаж и оказался перед тяжелой дубовой дверью. Он перевел дыхание и нажал кнопку электрического звонка. Никто не шел открывать. Он снова нажал кнопку и только собрался было уходить, как за дверью послышался мелодичный женский голос:

— Дверь открыта!

Варлам нажал на латунную фигурную ручку, и дверь отворилась. Он вошел в довольно просторный, роскошно обставленный холл.

В этой квартире у Баделидзе директор фабрики был впервые. Он считал Манучара человеком скромным и расчетливым, но изысканность отделки и богатое убранство квартиры заставили Варлама призадуматься. Дома, видно, никого не было, лишь из ванной комнаты слышался плеск воды. Варлам понял, что Русудан одна. Кровь бросилась в голову директора, и уже не сдерживая охватившего его желания, он направился к ванной и приоткрыл дверь. На мгновение его ослепило сверкающее белизной нагое женское тело. Почувствовав чей-то взгляд, девушка вскрикнула. Варлам словно прирос к месту. Столько лет прожил он на свете и не видел такого чуда!

— Ах, это ты?! — девушка откинула с лица волосы и засмеялась, глядя на Варлама:— Чего уставился, убирайся сейчас же, а то окачу водой!

Ошеломленный Варлам сперва попятился, потом ринулся вперед, пытаясь схватить Русудан в объятия.

И тут же его щеку обожгла пощечина. Это отрезвило его, и он мигом выскочил из ванной. Сердце бешено колотилось, голова кружилась. Русудан! Как расценила она его поступок? Непременно расскажет брату. А Манучар? Не такой человек Манучар Баделидзе, чтобы простить кому-нибудь оскорбление, нанесенное его сестре. Он вышвырнет его, Варлама, с работы, сделает его нищим!.. Все узнают о происшедшем, жена отвернется от него!.. Пропал Варлам, совсем пропал!.. Сигарета, которую он закурил, уже догорела, а Русудан все не выходила из ванной. Он еще раз с завистью оглядел роскошный холл. Да, не ожидал директор подобного размаха! Наконец скрипнула дверь. Сердце у Варлама встрепенулось, нервы напряглись до предела.

— Ты еще здесь? — засмеялась Русудан.

Завернувшись в пестрое махровое полотенце, она прошла в соседнюю комнату. Варлам, словно окаменев, стоял на месте. Потом, решив было извиниться, несмело ткнулся в комнату, куда скрылась девушка, и — застыл на пороге. Она лежала на широкой тахте и выжидающе улыбалась.

— Русудан! — залепетал совершенно обалдевший Варлам. — Я... я не хотел...

* * *

Учетчицей в цехе работала студентка третьего курса текстильного института, бледная худенькая девушка Наира Шавлакадзе.

За два часа до окончания работы к ней подошел начальник цеха Юрий Касарели:

— Меня интересует количество выпускаемой продукции, ведь прошла уже целая декада, — обратился он к учетчице. — Если есть какие-нибудь неполадки, нужно бить тревогу сейчас же, потом, в конце месяца, будет поздно.

Наира слушала нового начальника цеха удивленно. Своей учтивостью, скромностью он производил на нее странное впечатление. Одевался он как рабочий, в спецодежду, и целый день вертелся тут же в цехе, а если, случалось, не понимал чего-то, не стеснялся обращаться к старым рабочим.

Бывший начальник цеха Андро Чумлетэли, которого

очень быстро выдвинули главным инженером фабрика, вызвал как-то к себе Касарели:

— Начальнику цеха не полагается трудиться физически, для этого у него в цеху рабочих рук достаточно. Ваши действия рабочие могут истолковать по-иному, и вы можете лишиться авторитета, а в результате нарушается дисциплина. Так-то, молодой человек.

Касарели удивился: правда, у него не было соответствующего опыта, но он знал, что хороший руководитель должен делить с рабочими и радость и беду... Воцарилась напряженная тишина. В первую минуту главный инженер не мог понять, соглашается с ним Касарели или нет. Присмотревшись, он сообразил, что перед ним человек неискушенный.

— Товарищ Касарели, — обратился он к начальнику цеха, — не поймите меня превратно, я забочусь только об утверждении вашего авторитета. У вас ведь еще нет большого опыта. Правда, твердости вам не занимать, но у нынешних молодых иногда особое представление о собственной персоне.

Касарели молчал по-прежнему.

— Я надеюсь, вы станете надежным членом нашего коллектива, — продолжал Чумлетэли. — Словом, сам знаешь, — неожиданно переходя на «ты», сказал он. — Если тебе что понадобится, я к твоим услугам.

Прошла целая неделя, а главный инженер все не вызывал Касарели, да и сам Касарели не имел желания с ним встречаться.

Учетчица так и не поняла, о чем спрашивал ее начальник цеха.

— Представьте мне счета декады, — объяснил ей Касарели.

— К концу месяца я заполню ведомости и принесу их вам.

— Но по инструкции выработка должна фиксироваться ежедневно, — возразил Касарели. Девушка молча пожалала плечами.

— Так дело не пойдет, Наира! Если ты себя плохо чувствуешь, я заменю тебя, а ты отдохни, — сказал ей начальник. — Давно ты тут работаешь?

— Три года.

— Три года? — удивился Касарели, словно не ожидал, что у нее такой стаж.

Девушка опустила голову и вдруг разрыдалась.

— Что с тобой?! — всполошился Касарели. — Успокойся, ради бога, в чем дело, скажи...

— Мы всегда заполняли эти ведомости к концу месяца, сколько я тут работаю, это всегда было так! — сквозь слезы проговорила Наира.

В это утро Касарели сам проверил явку на работу в цех: выяснилось, что по различным причинам отсутствовали трое рабочих. Он понял, что дела в цехе идут неважно. К концу дня он вызвал учетчицу и, как и было условлено, она представила разнарядку. Касарели бросилась в глаза одна и та же цифра выработки у всех тридцати рабочих. Это очень смутило его.

— Наира, — в недоумении обратился он к учетчице. — Странное дело! Этим утром я сам проверил явку на работу. Не вышли Аида Белова, Квривишвили и Замбахидзе, а их графу ты заполнила. Как же это получается, людей нет на месте, а ты вносишь их в рабочий учет...

Наира потупилась и, по всей видимости, отвечать не собиралась. Касарели еще раз посмотрел ведомости, встал, прошелся по комнате. Он очень был взволнован.

— Значит, ты не собираешься мне это объяснить? — спросил он строго.

— Я не имею права говорить о том, что меня не касается, — пролепетала девушка.

— Хорошо, иди, — сказал он.

Когда Наира вышла, Касарели положил ведомости в ящик стола, потом задумался — надо собрать цеховое собрание, на котором он поставит вопрос о снятии учетчицы.

Возвратился он домой поздно. Уже лежа в постели, снова вспомнил Наиру, ее непонятные слезы и все прочее. «Нет, тут определенно что-то кроется», — подумал он, уже засыпая...

* * *

Манучар Баделидзе, предпочитавший всему на свете возможность вращаться в высших сферах, в день

приема дорогих гостей был на вершине блаженства и держал себя соответственно. Правда, он курировал всего лишь район, но авторитет его рос день ото дня, и можно было ожидать последующего возвышения.

— Да, дорогая Талико, задали же вы мне задачу, но даст бог, все будет хорошо! — говорил он молодящейся даме с сигаретой в зубах, Талико Эргемлидзе, занимавшей весьма высокий пост. Она только что закончила какую-то серьезную беседу с прокурором, повергнув последнего в уныние.

— А вы, милейший, большой пройдоха, да, да, вы ужасно напоминаете мне вышколенного дипломата, смотрите, не переметнитесь в другую сторону, мужчина всегда должен знать меру, — и она кокетливо погрозила ему пальцем. — Вы единственный человек, который в состоянии оказать мне помощь.

То и дело звенел звонок, возвещая хозяйину о приходе все новых и новых гостей.

— Я чувствую, вы доставите мне много хлопот, — Талико хрипло расхохоталась, — но, сказать по правде, вы немного опоздали. — Она закурила.

Он оценивающе посмотрел на нее.

— Простите, я надоел вам.

Признаки надвигающейся старости явно отпечатались на лице Талико, лоб ее бороздили морщины, щеки и шея были дряблыми. Дрожь отвращения прошла по телу Манучара. Жена его в эти минуты своими холерными ручками месила тесто — пекла хачапури для этой старухи.

— А ты не такой уж простачок, каким хочешь казаться, — Талико кокетничала, лукаво похихикивала. — Правда, запоздал немножко, но ничего, ведь опоздавшим грузинам всевышний пожертвовал на земле кусочек рая! Ты прекрасный работник, — прибавила она уже серьезно. — Есть люди, которые рождаются под счастливой звездой.

У Манучара от радости учащенно забилось сердце. Это был уже иной разговор. Он готов был обнять и расцеловать эту раскрашенную стареющую кокетку с прокурорным голосом.

Потом он почему-то глянул на сидевшего поодаль прокурора. «Этот тоже обстряпывает свои дела», — подумал Манучар. Если бы этот невежда не выскочил

не вовремя и не помешал ему, он, Манучар, был бы теперь совсем спокоен.

Нрав Талико Эргемлидзе переменчив, как весна. Стоит только на секунду ослабить внимание, зазеваться, и наутро тебе не дадут даже взглянуть на собственное кресло... — с досадой думал Баделидзе.

Прокурор восседал в своем светлом широком кабинете, в массивном, обитом зеленым сукном кресле. Он был в приподнятом настроении, беспрестанно поднимая телефонную трубку, отвечал на все звонки с несвойственной ему вежливостью.

А причина для столь благодушного настроения у него действительно была. Утром ему позвонила благодетельница Талико Эргемлидзе. В ушах прокурора, словно приятная музыка, и до сих пор звучали ее слова: «Не надоело тебе сидеть на одном и том же месте?».

Сердце его дрогнуло от радости, это уже не было шуткой. Вероятно, подумал он, повышение мое действительно не за горами. «Так вот, дорогой мой, — усмехнулся он, обращаясь сам к себе, — добро, говорят, не пропадает!»

Но радость слегка померкла, когда прокурор вспомнил, какое серьезное дело поручила ему Талико. Подняв телефонную трубку, он набрал номер.

— Тариэл, зайди ко мне.

Через несколько минут на пороге кабинета появился высокий, стройный брюнет — следователь городской прокуратуры.

— Свяжись с отделением милиции, чтобы сегодня же сюда доставили дело Важа Дидидзе. И прошу, следствием займись ты сам. Да, кстати, дай и мне познакомиться с делом.

Тариэл, кивнув в знак согласия, вышел из прокурорского кабинета.

На второе утро он обстоятельно докладывал прокурору о деле Важа Дидидзе.

— Ясно, — сказал прокурор и тоном дал понять следователю, что недоволен содержанием доклада.

— Пострадавшие живы?

— Живы, — кивнул следователь.

— Хо-ро-шо! — как бы про себя по слогам проговорил прокурор. — Нарушение общественного порядка с применением оружия классифицируется как хулиганство, — сказал он.

— По моему мнению, товарищ прокурор, налицо попытка совершить убийство, — возразил следователь.

— Ну, дорогой мой, поскольку судьба к ним была милостива и они избегли пули, мне кажется, этим гражданам не следует преследовать бедного юношу. Какое теперь имеет значение для пострадавших, по какой статье мы его накажем?..

Во дворе большого многоэтажного здания притулился небольшой двухэтажный домишко. В одной из квартир у окна стояли две женщины и вели мирную беседу. Одна из них, видимо, была гостьей, вторая — хозяйкой.

— Господи, на кого он похож! — глядя в окно на толстого, как бочка, коротконогого мужчину, стоявшего во дворе с каким-то человеком, сказала гостья. — Эх, какое настало времечко! Как к такому вот мяснику близко подойти? От него наверняка за три метра салом воняет...

— Вы правы, но... — многозначительно покачала головой хозяйка, — что поделаешь, все добро теперь в их руках. Не подойдешь — и топай из-за килограмма мяса на рынок. Так-то, дорогуша моя.

— Ну нет, генацвале, как бы мне туго ни пришлось, не стану я с ним якшаться. Ни за какие блага!

— И напрасно, — возразила ей хозяйка, — видите, тому, высокому, наверно, тоже нужно мясо, вот он и стоит с ним. Коротышка берет по пяти рублей за килограмм, скупает на Северном Кавказе скот по дешевке, а здесь втридорога продает. Вот и нажил такое состояние.

— Разве это жизнь, когда такая вот дрянь процветает! Управы на них, проклятых, нет!..

— Ты потише, чтобы, храни бог, до манучаровых ушей не дошло...

— Я же про то и говорю, что нету нам спасенья, погибли и все! Про мясника слова не скажи, у него денег много, большого человека не рассерди, все в его руках, что хочет с тобой сделает, — горько улыбнулась гостья.

— Времена-то нынче какие настали! У кого деньги, тот первый человек! Взятки какие берут, ой-ой-ой!.. вторила ей хозяйка. — Тот вон, что сейчас пошел директор техникума. — Она наклонилась к гостю, что-то прошептала ей на ухо и уже громко добавила: — В один сезон...

— Ой, что вы! — вскрикнула та.

— Да, да, так говорят, а знаете ведь, дыма без огня не бывает.

— С ума все походили!

— Конечно, понемногу все себе позволяют, но некоторые совсем уж совесть потеряли. Вот, сказывают, в городе новая звезда появилась, всех, оказывается, обскакал этот денежный мешок!

— Кто такой?..

Хозяйка снова приблизила губы к уху своей собеседницы. Что-то пошептала и уже вслух добавила:

— Но, говорят, Рамаз Бибилури скоро этого миллионера переплюнет.

— Неужели и Бибилури?

— А ты что думаешь, Бибилури ангел? Он знает какой делец, всем мединститутом по своему усмотрению заправляет. Слыхала, наверно, какие события в институте разыгрались. Желающих попасть в медицинский день ото дня становится все больше и больше, а ведь институт-то не резиновый... Вот и поступайте, как хотите... Бибилури этот всему голова.

В это время женщины увидели, как по двору прошел сам Рамаз Бибилури.

— Вон и он сам, легок на помине, — заметила гостя. — В этой квартире, генацвале, наверно, все только миллионеры и собираются.

— Вот именно! Сколько посуды придется убирать! А мусора!..

— Жаль мне вас, искренне жаль.

— Что поделаешь, зато и я на этой карусели верчусь, и мне кое-что перепадает, с голоду умереть не дадут.

— А этот вон кто? Какой красавец мужчина, рядом, видать, жена, вся в бриллиантах.

— Ну-ка, дайте я взгляну, кто там пошел? — Хозяй-

ка снова выглянула в окно. — А этот... он небогат, хотя вообще кое-что имеет, а его жена...

Гостья снова приблизилась к хозяйке и зашептала ей что-то на ухо.

— Не знаю, милая, люди говорят, а мне откуда знать, прелестная женщина... — добавила она вслух.

— Неужели Манучар, я от него такого не ожидала!

Хозяйка пожала плечами.

— Впрочем, кто его знает.

Обе женщины с любопытством уставились в окно.

Тем временем в квартире Манучара Баделидзе, как можно догадаться, собирались гости. То и дело звенел звонок, хозяин не успевал пожимать руки гостям.

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогие, проходите, — с приветливой улыбкой встретил он Варлама и его жену. Более почетных гостей Манучар уже не ждал, поэтому велел домработнице открывать двери тем, кто еще придет, а сам отправился в залу и уселся в кресло рядом с женой.

— Здравствуйте, батано Манучар, как поживаете? — мужчина ниже среднего роста, с энергичным сухощавым лицом устремился к Манучару и склонился перед ним в почтительном поклоне.

Манучар поднялся и с принужденной улыбкой поглядел на подошедшего.

— Благодарю вас, слава богу... А вы как?

— О, мы все вашими милостями... Вас, есть слух, ожидает большое повышение, тогда и мы... хе-хе... и нам лучше будет... хе-хе... да, да...

Манучар тут не выдержал, широко улыбнулся и многозначительно посмотрел на жену.

Посередине комнаты на длинном с инкрустированными ножками столе, покрытом серебристой скатертью, в изобилии были расставлены разнообразные блюда и напитки. Гостей пригласили к столу.

Некоторое время все были заняты едой, и в комнате царил полная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием вилок и ножей о тарелки.

— Хм... — смущенно кашлянул низенький толстяк, нарушая наконец это безмолвие. — Наш дорогой Манучар, по всему ясно, скоро улетит от нас. Что-то с нами, несчастными, будет, когда покинет нас благодетель наш

и заступник? — голос у толстяка был низкий, сочный и приятный.

Варлам покосился на жену и возразил:

— Не печалься, дружок, куда бы ни ушел Манучар, нас он без внимания не оставит, потому как знает цену настоящим друзьям.

— Эх, Варлам, слышал поговорку — с глаз долой, из сердца вон, не до нас ему будет, когда высоко взлетит.

Гости постепенно зашумели. Тут поднялся хозяин.

— Тамадой, с вашего позволения, я назначаю уважаемого Варлама, думаю, дорогие гости, вы останетесь довольны. Никакие отводы не принимаются! — с улыбкой обратился он к Варламу. — Ну, пожелаем здоровья тамаде... — он поднял бокал.

В один прекрасный день город потряс слух о том, что суд приговорил к нескольким месяцам тюремного заключения некоего Важа Дидидзе и его приятелей, которые подняли дебош в ресторане и смертельно ранили несколько человек. Непонятное милосердие правосудия возмутило общественность. В суд поступило множество кассационных жалоб, и судьям не оставалось ничего другого, как переслать дело о хулиганстве в Коллегию Верховного Суда. Однако Коллегия оставила приговор по делу Дидидзе в силе. Это известие вызвало еще большее возмущение. «Это не хулиганство, а преднамеренное убийство, — говорили все. — И почему только суд закрывает на это глаза!» Читателю, разумеется, понятно, что судьи, попавшие в столь щекотливое положение, убоялись не гнева господня...

Новое следствие с самого же начала исключило преднамеренное убийство. Коллегия вынесла решение, аналогичное решению суда. Постепенно тревога и толки в городе улеглись и жизнь вошла в свое обычное русло. Прошло недолгое время, и тетушка осужденного, Талико Эргемлидзе, с престижем которой не могли не считаться, с удвоенной энергией взялась за дело освобождения своего обожаемого племянника Важа Дидидзе. Она убедила блюстителей правосудия в том, что пле-

стойным своего внимания, но при виде этих модно одетых, олицетворявших саму молодость юношей у нее приятно всколыхнулось сердце. Несколько секунд она не могла оторваться от двух пар восторженно устремленных на нее глаз и, обернувшись к хозяину дома, сказала ему вполголоса: — А ты умница! Великолепное общество, завидую твоему вкусу!..

Гости веселились вовсю. Калбатони Талико была в прекрасном настроении, несмотря на то, что до этого чувствовала легкое недомогание.

— Почему не пришел ваш племянник? — с упреком спросил ее Манучар. — Он ведь обещал непременно быть у меня!..

— Эх, милый мой Манучар, разве вы не знаете современную молодежь? Противный мальчишка, носится где-то, словно ветер, — лицо тетушки озарилось довольной улыбкой.

В зале стало еще веселее. Нарядные молодые женщины обносили гостей блюдами и напитками. Все присутствующие чувствовали себя счастливыми. На приеме было тридцать человек: двадцать мужчин и десять прекрасных женщин, придававших этому изысканному застолью еще большую прелесть. Тамада то и дело приказывал зажигать все имеющиеся в зале светильники, чтобы любоваться сиянием и игрой бриллиантов, алмазов и изумрудов, украшавших прекрасных дам. И только одна девушка, девятнадцатилетняя Маквала, чувствовала себя глубоко несчастной в этом параде драгоценностей и нарядов. Маквала была дочерью простого рабочего, отца четырех детей, и в гости в дом Манучара Баделидзе попала случайно: она пришла к Русудан, своей школьной подруге, и хозяин дома силком повел ее к столу. Стыдясь своего простенького платья, она почти не поднимала глаз от тарелки.

— Девушка, — раздалось у нее над ухом. — Вы так задумчивы, что никого вокруг не замечаете.

Маквала, которую какой-то неприятный мужской голос действительно вывел из задумчивости, взглянула на сидящего напротив нее мужчину. Он был так толст, что не мог повернуть шеи. Толстяк вынул из кармана и положил на стол портсигар. В свете люстр от портсигара к Маквале потянулись голубые лучи. Девушке захотелось взять в руки этот странный предмет, формой напо-

минавший скорее маленький старинный ларчик. Она даже улыбнулась этому расплывшемуся от жира существу, вовсе не похожему на мужчину. А он, словно угадав ее желание, молча, уверенно протянул ей портсигар. Взяв в руки вещьцу, Маквала долго ею любовалась.

— И вовсе я не собираюсь вас притеснять, — размахивая руками, говорил мужчина с густыми усами, Нерсе Насидзе. — Я потому так и решил, что знаю ваши обстоятельства, — он закурил. — Разумеется, это не так-то просто, как полагают некоторые. — Последние слова он подчеркнул особо. — Но я постараюсь...

— Если ваше решение окончательно, остается только выразить вам нашу глубочайшую признательность, — ответил ему бледнолицый собеседник. — Вас сам бог нам послал...

— Все будет в порядке, — твердо отвечал Нерсе. — Разве для меня есть что-либо невозможное? — На лице его появилась довольная ухмылка. — Не беспокойтесь, выделим вам лучший земельный участок.

— О, батано Нерсе, вы завели очень интересный разговор, не мешало бы и нам послушать вашу беседу, — обратился к нему представительный очкастый мужчина, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства. — Вот уже два года я безуспешно стараюсь вступить в строительство, но... Вероятно, мне недостает опыта... хе-хе-хе...

— Дорогие друзья, если вы поверите мне, я обещаю вам, что удовлетворю каждого из вас. Здесь кто-то говорил, что строиться в Варазисхеви¹ невозможно, мест нет? Нет, милейшие, на вас этот дефицит не распространяется. Поэтому не горюйте, я обещаю вам, что все образуется!.. — закончил Нерсе тоном уверенного в себе делового человека и заслужил аплодисменты сидевших за столом.

— Вы говорите так утвердительно, словно в состоянии обеспечить земельными участками и новыми квартирами всех присутствующих тут подряд, — громко, с другого конца стола, обратилась к нему Маквала.

¹ Один из районов Тбилиси, интенсивная застройка которого началась лет 25 назад.

На минуту в столовой воцарилось неловкое молчание. Каждый из гостей напряженно ждал, что ответит Нерсе этой девушке, скромный наряд которой, вызывая у присутствующих насмешливые улыбки.

Насидзе улыбнулся ей, и в улыбке этой Маквала прочла желание унижить ее. И хотя она поняла, что своей неловкой тирадой ущемила достоинство этого надутого чинуши, ей вдруг стало ясно, что квартиру, в которой она нуждалась, непременно получит.

— Милая девушка, — обернулся к Маквале Нерсе. — Раз мы находимся в такой замечательной семье, какой является семья моего друга Манучара Баделидзе, и раз наше застолье украшает известная своим умом и обаянием, лучшая из женщин — калбатони Талико, то все находящиеся здесь для меня близкие, родные люди. И как не отдам я ни один из этих пяти пальцев, — он поднял руку и растопырил пальцы, — так не скажу ни одному из вас, мои дорогие, слово «нет!» — Видно было, что вино уже порядком одолело Нерсе.

От этих слов у Маквалы прошло плохое настроение. Она снова принялась разглядывать портсигар, потом вернула владельцу:

— Прелестная вещица!

— Вам понравилось?! — осклабился толстяк, показывая золотые зубы.

— Чудо! Будь я мужчиной, непременно отняла бы его у вас.

— Я дарю его вам! — толстяк проговорил это так просто, без всякой напыщенности, что девушка не усомнилась в его искренности.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Что вы, нет!

На лице толстяка отразились разочарование и обида.

Неожиданно в очередной раз померк, почти погас и снова ярко вспыхнул в комнате свет. И снова заиграли, заискрились ожерелья, перстни, серьги, колье, хрусталь на столе и хрусталь люстр... И в довершение всего этого резко запахнулись двери и в залу вбежали несколько парней с подносами в руках. На подносах трепыхалась только что выловленная рыба-цоцхали.

— Да здравствует наш любимый Манучар! — грянула здравица в честь хозяина дома.

— Не годится — отставить! — закричал кто-то.
Ну-ка, все вместе! Да здравствует!
— Да здравствует! Да здравствует!.. — подхватили гости.

— А теперь дудуки! — Это кричал Важа Дидидзе. Он только что появился тут, где-то уж порядком подвыпивши.

Увидев драгоценного племянника, тетушка растаяла было от радости, но вспомнив, что теперь она уже не сможет так свободно кокетничать со своим молодым смазливым соседом, сникла, ибо хорошо знала необузданный нрав своего дорогого малыша: Важа мог устроить по этому поводу порядочный скандалчик. Потому было бы лучше, чтобы он поскорее убрался отсюда.

Протяжно запела зурна, следом раздался четкий стук доли, и на какие-то мгновения все сидящие за столом погрузились в нирвану.

— Леури! — выкрикнул Важа Дидидзе, защелкав пальцами, бешено выскочил на середину комнаты и понесся, понесся по кругу... И стал приглашать на танец Русудан.

В тот вечер тетушка впервые обратила внимание на то, как красива эта девушка. Однако ей было известно и то, какими слухами окружено имя Русудан Баделидзе. «Мальчику пора остепениться, — с нежностью подумала тетушка, — да и такую девушку грешно упускать из рук... Н-но... а впрочем!..»

Продолжение следует

П Р И Р О Д А

МЕНЯ пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем, и еще больше — на ярком солнце около полудня, когда я оставался один.

Ничего похожего на такую спутанность понятий мое мировосприятие не содержало, и границы разделения проходили там же, где и теперь они проходят для меня и где они проходят для всякого человека. Если уж говорить о различении тогдашнего и теперешнего, то оно имело как раз обратный смысл: эти границы между отдельными вещами, существами и явлениями были несравненно глубже, чем теперь, и сознавались острее и непроходимее. Ведь в самом деле, детское восприятие — более эстетического характера, нежели восприятие взрослого, научное, или хотя бы наукообразное. И потому каждый отдельный субъект в детском восприятии, как созерцаемый эстетически, целостью замкнут в себе, и от единства его нет никаких переходов к саморазомкнутому же единству другого объекта. Преобладание в детском восприятии вещей над пространством делает мир несравненно более прочно расчлененным, нежели в восприятии взрослого. Научное познание устанавливает общность, где ее раньше не было видно, разыскивает промежуточные явления между крайностями, мостит мосты для перехода чрез дотоле непроходимые бездны, вообще смазывает четкую раздельность мира, притупляет пафос различия. В критическом и последовательном научном понимании мира непосредственное чувство невозможности каких бы то ни было сближений, переходов, превращений должно быть задерживаемо, и в этом — дух науки. «Celui qui en dehors des mathematiques prononce le



mot «impossible» manque de prudence»* — отчеканено славным Ампером и притом в расцвете рационализма, когда верилось, что все в основе известно, и круг знания почти замкнут.

Итак, не по нечувствию естественных границ между явлениями воспринимал я жизнь мира. Научное миропонимание ослабляет внешнее различие между явлениями, оставляя самые явления, даже когда они по качеству своему тождественны, чуждыми друг другу, и мир, лишенный яркого многообразия, — не только не объединяется, а напротив, рассыпается. Детское восприятие преодолевает раздробленность мира **изнутри**. Тут утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми явлениями.

Конечно, я отлично сознавал, что фиалка не имеет ничего общего со мною, я прекрасно знал о несуществовании у нее глаз (увы, теперь я этого не знаю, и потому взор фиалки, для разговора, могу и заказывать: и по ботанике, растения имеют глаза). Но непосредственно я принимал к самому существу скромного цветка, ощущал его жизнь, столь близкую мне внутренне и столь далекую по внешне учитываемым проявлениям, и вот эту, постигнутую мною, внутреннюю жизнь рассказывал себе в словах, как говорится, метафизических. Какой-нибудь малый и даже трудно формулируемый признак мог **тогда**, но только тогда, то есть когда изнутри существо было уже познано, стать свидетельством, что я правильно уразумел существо дела. Но он был для меня внешним доказательством, обязательным для других, и я бы даже постеснялся сказать о нем кому бы то ни было: это было знамение, некоторое природное чудо, — когда сокровенная сущность приподнимала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд. Я хорошо помню это внезапное и далеко не повседневное ощущение, что взор встретился со взором, глаз уперся в глаз — мелькнет, острое, и прекратится, да и не выдержать бы длительного этого прямого созерцания лика Природы. Но, и мгновенно, это ощущение

* «Тот, кто вне математики произносит слово «невозможно», не считается с благоразумием» (фр.).

давало абсолютную уверенность в подлинности этой встречи: мы друг друга увидели и насквозь друг друга понимаем, не только я его, но и, еще острее, он меня. И я знаю, что он меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное — меня всецело любит.

Однако, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными взорами и ощущение, что меня взор пронизывает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаяюкать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой никогда не смотрел в моей памяти, правильнее сказать, то был взгляд сверхсознательный, ибо Васиними глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и предо мною снова были глаза двухмесячного ребенка. Вот этот-то опыт постоянно направлял курс моего отношения к природе. Ничего, ничего; а вдруг — и метнется взгляд, то нежный и глубокий, полный какого-то ожидания от меня, то лукаво-веселый, говорящий, что мы-то с природою знаем, чего другие не знают и знать не должны. Природа, как верил я и ощущал, скрывает себя от людей; но я — любимец ее, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем так, чтобы не стать явной пред другими. И она посылает мне свои знамения, говорит мне знаменательными формами, мне одному доступными, чтобы я знал, где надо насторожить свое внимание.

Молодые животные, некоторые птички, малые ящерицы с прекрасными карими глазами, иногда маленькие зеленые лягушата, ну и, конечно, многие цветы так общались со мною. Минералы, различные природные явления, в особенности многие цвета, запахи и вкусы — были пронизаны глубинной энергией природы несравненно более животных и птиц, даже цветов, но в них эта напряженная и клокочущая мощь немотствовала, лишенная органа выражения. Она набухала, стремясь ко мне, но между нами всегда оставался прозрачный слой тонкой, но непробиваемой изоляции, и стремление

к мистическому разряду никогда не удовлетворялось до конца. Всегда я чувствовал себя несатым своим зеленым цветом, своими искрами, своим запахом и шумом моря.

Знаменательными и потому особенно таинственными бывали разные, полууловимые признаки. Но были, кроме того, и целые классы природных форм, волнующие, всегда желанные, всегда вызывавшие стремление охватить их изнутри, проникнуться ими и самому им уподобиться, конечно, не внешне, а в каких-то недрах глубинной воли.

Ах, почему я не та форма? Или: ведь та форма — это я, — между двумя этими формулировками неустойчиво колебалось тогда мое чувство.

Многие из форм мне нравились в природе, многим я любовался, но брало за сердце и волновало до глубины далеко не все, и мне думается, не только сейчас, задним числом, но и тогда я достаточно точно устанавливал в слове свою внутреннюю потребность. Вот что я говорил о себе:

Внутренно приковывают меня к себе формы определенные, ограниченные упругими поверхностями, упругими линиями. Я ищу проработанности форм. В растениях мне наиболее привлекательны прямые линии или незаметно мало изогнутые, но и те и другие должны быть упругими; малейший перехват либо в сторону черствости и механической правильности, — как палка, либо, напротив, в мягкость, одрябление или кокетливое склонение — и все очарование прямой бесповоротно исчезало, сделав ее в одном случае — скучной и мертвой, а в другом — какой-то липкой и гадкой. Естественно, эта упругость прямизны должна держаться и выражаться соответственным строением, в котором явно преобладает направление по самой линии, так что линии представляются плотно связанным пучком продольных волокон. В растениях вообще меня волновала их волокнистость, особенно когда она и на поверхности выражалась тончайшими каннелюрами стебля, как, например, хвоща, у некоторых водяных растений, у линий, или же зримой структурой продольно-вытянутых клеточек с серебриющимися между ними

продольными же воздушными пузырьками, как у стеблей водяных лилий, многих луковичных и других. Эта же упругая вытянутость определяла чаще всего влечения к птицам и животным.

Тоненький и длинный, упругий клюв вальдшнепа, еще более тонкие и еще более вытянутые клювы колибри, такие же клювы и ноги аистов, журавлей, куликов, вообще голенастых, едва ли не были главной причиной моей духовной близости к ним. Поэтому же я любил джейранов, газелей, оленей, ланей — за их тонкие ножки и упругую шею. Когда я чувствовал в поверхности, ограничивающей некоторое тело, естественную поверхность равновесия упругих сил всего организма, когда внутренним взором видел, как ее, упругую, выпячивают внутренние силы, и она, скажу теперешними словами, решает задачу на минимум, тогда и во мне что-то набухало ответно, и я ощущал ее как свою поверхность, и себя — как ее содержимое: такова была, например, поверхность некоторых раковин. Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным предвкушается беспредельно больше сокровенного. В упругости форм я улавливал жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою. Упругий стебель водяного растения, упругие лепестки белых лилий, упругие темно-синие бубенцы полевых гиацинтов, упругие капли росы, собравшиеся на волосатых листьях манжеток, упругие выпуклости раковин, упругая шея джейрана и карабахской лошади и бесчисленное множество других гибких и вместе исполненных внутренней силы форм волновали меня до щекотания в сердце именно как откровение самой творческой мощи природы. Вещь как таковая, уже всецело выразившаяся, мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное.

Я чрезвычайно любил бутоны и почки, но роскошная красота на своей вершине принималась мною с таким оттенком, с каким относятся взрослые к тряпичным цветам. Да, роза прекрасна, но она вся тут, она не волнует неразгаданностью, и жизнь, ее производящая, дошла в ней до вершины и теперь иссякает. Роза явна и потому не таинственна. Так и всякая дру-



гая вещь — волнует, пока в ней чувствуешь бутон другого бытия; а когда она — сама по себе, чувствуете ли вы, что она данная, она слишком понятна и потому не привлекает к себе.

У меня всегда было определенное чувство, что по-длинно знаменательное скромно и прячется, тогда как в откровенной красоте великолепных магнолий, роз, тюльпанов и т. д. есть что-то такое, от чего приходится конфузиться за них. И я предпочитал фиалку, скромный, хотя и священно пурпурный цветок, спрятавшийся под кустами среди собственной зелени, опять-таки скромную и малодоступную незабудку. Верхом же привлекательности был, почти мифически в моем сознании, ландыш, который я знал больше из рассказов тети Юли и рисунков, и позже — по садовым его экземплярам. Иногда находил я в лесу ландышевые листья и, в восторге от тончайшего строения их жилок, всех параллельных между собой, целовал их. Моею мечтою было найти растение в цвету; но в окрестностях Батума цветение ландыша происходит, вероятно, так рано, что мои поиски никогда не достигали цели.

Впоследствии мои чувства к розе и другим растениям роскошного вида изменились; но не потому, что изменился характер внутренних моих требований, а — в связи с открывшейся мне незавершенностью и розы. Может быть, самые восприятия мои стали менее сильными, так что эта преизбыточная роскошь в моих глазах и сделалась скромнее. Но во всяком случае она потеряла свою пышную самодовлеимость и стала бутонем иных возможностей и иной полноты.

Точно так же и в других областях: мои восприятия и сами по себе были слишком яркими для того, чтобы яркое и преизобильно роскошное давало мне удовлетворение. Конечно, многое может быть занимательным, многое хочется узнать и увидеть, но совсем вплотную мило лишь скромное. Птичка, может быть несуществующая, светло-коричневого цвета, как кофе с молоком, с голубою головкой прыгала передо мною в воображении, как образ этой заветной скромности.

Моему сердцу мила была незаметность, тихость,

смирение. А вместе с тем и вопреки тому душою влекая тот же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности. Мне всегда хотелось жить среди возможно простой обстановки: окруженным скромной природой, но имея где-то поодаль природу тропическую. Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая и нелюдимая пустынность высот почти касается субтропической флоры. Не таково ли и место моего рождения, Балах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами?

Но скорее в этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению.

Так вот, в то время как передо мною скакала та коричневая с голубым птичка, я страстно и почти болезненно мечтал о колибри, и мне казалось, может ли быть лучше удел, как поцеловать живого колибри — больше всего я любил эльфа, как за малость его и несколько смешной нахохленный вид, так и за самое название — и умереть.

Я жадно выпрашивал у всех подробности об этих очаровательных птичках, бесчисленное множество раз смотрел имеющиеся изображения их и с горечью помнил, что их держать в неволе не удавалось, что сироп, которым их кормили, засахаривался в их маленьком желудочке и убивал их, и что поэтому нет надежды увидеть мне их живыми.

Тогда я умолял поверенную моих желаний, тетю Юлию, приобрести чучело колибри. А для того чтобы мотивировать это приобретение, я просил ее посадить колибри на шляпу, — чего, впрочем, мне и на самом деле хотелось по моему увлечению нарядами. Долго приставал я, всячески доказывая необходимость такого украшения на шляпе. Наконец папа сказал, чтобы выполнили мое желание. Было уже довольно поздно и несколько холодно, то есть по ба-

тумскому климату, когда мы с тетей отправились за
вождеденной покупкой. Кажется, это была поздняя
осень или зима. В Батуме было тогда еще порто
франко, и потому в убогих батумских магазинах про-
давались весьма изящные и добротные заграничные
товары. Среди большого выбора шляпных чучел ко-
либри глаза мои разбежались, я выбирал то ту, то
другую, потом откладывал обратно и снова выбирал,
пока наконец не стало темнеть и пришло время запи-
рать магазин. Несколько недовольная моей нереши-
тельностью тетя Юля наконец помогла мне сделать
выбор и расплатилась за довольно дорого стоящую
покупку. Птичку завернули, слегка загнув с обеих сто-
рон бумагу, чтобы не смять ее.

Покупки тетя мне не хотела давать, опасаясь, что
я сомну ее, но я так умолял дать ее нести мне, что
тетя уступила, предупредив лишь еще раз о том же
и показав, как надо нести воздушный пакет за один
край, чтобы не повредить колибри. Я вцепился в этот
край и добросовестно выполнил все предписания. Но
когда, пройдя некоторое расстояние, тетя захотела
проверить, не мну ли я птичку, оказалось, пакет раз-
вернулся снизу, птичка выпала, а я старательно нес
пустую бумагу. Я так огорчился этой потерей, что да-
же не заплакал, а тетя огорчилась за меня. Мы про-
шли обратно, но было темно и сыро, птичка, конечно,
не нашлась.

Этот случай нанес душе моей рану, одну из тех,
что не заживают никогда, хотя бы о них сознательно
мы и забыли. Мне уже больше не хотелось даже по-
купать нового колибри, и предложение в этом смыс-
ле мною было отклонено, даже говорить о колибри
было мне тягостно.

Несколько лет спустя папа прочел где-то объ-
явление о вышедшем в Париже роскошном цветном
альбоме колибри и, вспомнив, как замирал я, распра-
шивая об этих птичках, ничего не сказав, выписал этот
альбом и подарил мне. Альбом был действительно за-
мечательный. Но моя полузабытая рана в сердце бы-
ла так болезненна, что альбом оставил меня холод-
ным, и я запрятал его куда-то подальше.

Еще через несколько лет, в третьем или четвертом классе гимназии, одноклассник мой Володя Эри как-то попросил у меня какую-нибудь книгу с картинками для срисовывания. Я дал ему тогда альбом колибри, но уже обратно его не получил, несмотря на просьбы. Подозреваю, что, страстно увлеченный тогда курами, Эри превратил моих колибри в кур.

Тогда я даже не жалел об этом альбоме, и только теперь, когда с каждым днем возвращаются впечатления детства, снова он стал вспоминаться. Но так уж много в жизни не повезло с этими птичками, в которых было для меня самое острое изящного.

У меня осталось такое ощущение от детства, что я, собственно, никогда, или почти никогда, не приходил в состояние спокойное: целый день меня не оставляла экзатическая приподнятость, когда я либо говорил без умолку, за что у тети Лизы в деревне крестьянские девушки называли меня по-армянски «цицернак», то есть ласточка, либо во мне все пелось и распускалось в экзатических звуках. Едва ли эти состояния были заурядною живостью всякого ребенка. По-видимому, в моем мозгу происходило что-то, если и не неладное, то во всяком случае необыкновенное, что причиняло мне немало страданий. Я хорошо помню с раннейшего детства начавшиеся и прекратившиеся, если не ошибаюсь, лишь лет в десять, головные боли, которые можно отчасти сравнить с сильной мозговой усталостью в конце длительной и напряженной умственной работы. Вероятно, это были сильные притоки крови, притом именно к задней, нижней части головы, и я старался найти себе облегчение от этой боли и тяжести довольно частым подниманием, запрокидыванием головы и прижиманием на мгновение затылка к шее; мне кажется, что это мое движение несколько напоминало характерный рефлекс при менингите. Нелегко ходить с такой головою, и если бы не мой всегдашний восторг и интерес к бытию до самозабвения, вероятно, я бы непрестанно хныкал от своей боли. Бедного папу всегда беспокоило мое здоровье, и по многу раз в день он ощупывал мой лоб, нет ли у меня жару, и неизменно спрашивал: «Не болит ли головка?». Но и его ощупывание, и его вопрос были излишними: голова у меня болела, и я старался только забыть о ней,

а жар тоже был почти всегда, от малярии, которой страдало все семейство, начиная с папы.

Я уж не знаю, были ли у меня приливы крови в голове от моей всегдашней внутренней взволнованности, или, наоборот, самое мое возбуждение усиливалось притоком крови.

К тому же мы все, не только наше семейство, но и все знакомые сидели в Батуме на хинине, поглощая его банками, и едва ли это могло не отражаться на общем самочувствии.

Но от чего бы то ни было, а все из области природы меня интересовало, не давая уму ни минуты отдыха. Сколько раз в день, бывало, влезу я на перила балкона и, держась за деревянный столб, исследую снова и снова хорошо уже рассмотренное лавровишневое дерево возле балкона и в тысячный раз глажу и прикладываю к лицу его словно лакированные темно-зеленые листья, жую их, думаю о том, как из его черных ягод делаются капли, нюхаю цветочные кисти и нахожу в их запахе сходство с горьким миндалем. Потом такому же обследованию подвергаются растущие у нас на балконе в ящиках большие апельсиновые и лимонные деревья с недозрелыми еще плодами и белыми любезными мне цветами. В подобных занятиях проходит, как мне кажется, много времени. Потом я принимаюсь за исследование привлекательное, как и рискованное: внимательный осмотр зияющих черными эллиптическими отверстиями червоточин в балконных столбах. Уже давно сообразил я, что эти темные отверстия имеют тайный смысл, и потому мимо ушей пропускал разъяснения взрослых, будто бы их выедают какие-то черви. Одна из нянюшек (впрочем, вспоминаю, что это была Люсина няня, пожилая вдова по имени Софья, а по фамилии Романова; она сказала мне, что муж ее, как Романов, был царем, и мой полускептический вопрос, почему же она живет в няньках, не загладил во мне впечатление от ее слов), — так вот эта самая нянька, желая отвлечь меня от червоточин, сообщила, что там живет бука. Конечно, я ей сразу поверил, ибо и сам пришел к такому заключению, только не знал имени таинственного суще-

ства, но, конечно, лишь усилил свою внимательность к обиталищу этого буки.

Иногда выходила на балкон тетя Юля пересаживать растения или насаживать их в длинных ящиках, устроенных по распоряжению папы кругом всего дома, по перилам балкона. Тетя любила копаться в земле с цветами, а я — ей помогать: меня интересовали корни растений, молодые побеги, прячущиеся в земле, прорастающие семена, и приводила в ужас, хотя и без позднее развившейся брезгливости, копавшаяся в земле медведка. Но это отдельные впечатления. Они умножались и обострялись, когда я попадал за город. Папа любил и считал полезным устраивать нам целодневные прогулки по окрестностям Батума. Нанимался фэтон, иногда два, делался запас провизии и, главное, столовых принадлежностей, и мы с волнением катили по одному из шоссе.

Наиболее любимым и наиболее часто посещаемым местом таких прогулок была первая станция строившейся отцом моим Батумо-Ахалцихской шоссе-сейной дороги — Аджарис-Цкали. Дорога идет сперва неподалеку от морского берега, плоского, пустынного — это хорошая подготовка к последующему богатству и отвесным скалам Аджарского ущелья. Но и этот пустынный кусочек в 2—3 версты не лишен занимательности для нас. Вот недалеко от дороги виднеются хижины, крытые сухими кукурузными стеблями, и из тех же стеблей на деревьях целые стога округлой формы, словно гнезда исполинских ос. Эти хижины и эти скирды кукурузы принадлежат негрской колонии, расположившейся около Батума. К нашему удовольствию, рослый негр, почти великан, или негр-тянка с младенцем у черной груди и другим негр-тенком, цепляющимся за руку или за подол, пересекает дорогу и с любопытством остановится возле нас. В них мне чувствуется кротость богатырей и открытость в природу, которая впоследствии стала мучительно искаться мною. Черный цвет их меня несколько не смущает, я только соображаю про себя, ваксой или тушью мне придется краситься, если я поселюсь среди них. Как странно: в детстве мне чуждо ощущение близости к людям чужим, кроме очень немногих. Но при таких встречах протягиваются нити симпатий.



Едем дальше. Вот речка, с которой начинается дорога под управлением папы и первый на этой дороге им построенный мост. Мы гордимся, что папа строит мосты, и на этом основании считаем их своею ответственностью и потому вместе с папой должны осмотреть его хозяйским взглядом, все ли там благополучно. Папа останавливает фаэтонщика, упирая ему в спину палкой, — почему-то все уверены, несмотря на гуманные идеи, что иначе фаэтонщик не слышит. Мы бросаемся под мост поплескаться в прозрачной, текущей по песку воде, — хотя пить ее нам строго воспрещается, — вылавливаем лягушачью икру или головастика, смотря по времени года, и, конечно, это во всякое время, подбираем со дна хорошенькие витые черные ракушки. Мы бы остались с охотой и еще, но нас торопят, садимся в экипаж и затеваем с Люсей ссору, если не успели ее устроить при выезде, кому сидеть на неудобной передней скамеечке, которая представляется нам местом почетным и самостоятельным, а кроме того имеет преимущество обсервационного пункта. Папа рассказывает нам о развитии лягушачьей икры или о выплавке меди из медного колчедана, по поводу огромных куч, расположенных вдоль дороги. В этих курганах из колчедана, распространяющих запах сернистого газа, — я давно уже усвоил всю эту химию, — выгорает сера, а образующаяся медная окись, как я узнал, будет впоследствии восстановлена углем. От папы я научился тоже сожалеть о разлетающемся сернистом газе, из которого можно было бы сделать занимающую меня серную кислоту и без огня сжечь ею тряпку. Я знаю только, что добыча колчедана производится тут же неподалеку, и внутренне горжусь, что наш, я бы сказал, мой Батум не лишен настоящей руды, т. е. какой-то связи с подземным миром. Втайне я вывожу отсюда и дальнейшие последствия, что раз есть руда, то есть или могут быть подземные шахты и коридоры, вводящие в самую преисподнюю, а затем и сталактитовые пещеры; на заднем же фоне всего этого виднеется несколько туманная пока возможность встречи с гномами.

И еще более волнует меня рассказ папы о золо-

тоносном песке. Я, конечно, хорошо помню поход аргонавтов к устьям Фазиса и в Колхиду за золотым руном. И давно также и твердо себе усвоил, что эти «мифические места» — именно те, где мы живем, и что, следовательно, миф столь же реален, как и сам я и наша Колхида. Фазис — это нынешний Рион, и знал я также, что доселе стоит скала в Родопском ущелье, на которой был распят Прометей.

Кстати сказать, родители мои тут, кажется, дали маху: изолировав меня от церковного учения и сказок, как еще живущих, они легко относились к античной мифологии, вероятно, считая ее безнадежно умершей. Последствием же такой оплошности было то, что я чувствовал себя древним эллином яснее, чем русским, и фавнов и нимф полюбил и знал больше, нежели леших и русалок. Итак, греческий миф мне был близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности. Относительно золотого руна я знал от папы, что в древности (а это слово казалось мне наполненным тем же таинственным мраком, что и пещера, и потому было так же волнительно) пески колхидских рек, в том числе Риона и Чороха, были золотоносны и остаются теперь такими же, а добыча золота производилась промывкою золотоносного песка над овечьей шкурой. Когда кудрявая подстилка напитается застрявшими в ней золотыми крупинками, ее сжигают, а золото остается. Вот за этим-то золотым руном и приезжал к нам некогда такой герой, как царь Ясон. Как же было не гордиться своей страной? — приезжал ведь почти что ко мне. Правда, было тут и некоторое преткновение в виде злой волшебницы Медеи, которую наградила в придачу к руну тоже наша Колхида. Но Медея внушала мне неприязненное чувство за обман отца и расправу со своими детьми, и в своих мыслях я старался миновать ее образ. Как говорил нам папа, около Артаина, то есть верстах в тридцати от Батума по течению Чороха, добывается золото с помощью такой шкуры, однако содержание золота в песке весьма незначительно. Как раз около этого времени золотистые пески Чороха подали мысль каким-то двум ловкачам сделать дельце: они привезли из Сибири золотоносный песок, отчасти уже промытый, то есть с очень высоким содержанием золота, и подсы-



пали его в определенном месте к песку Чороха. Была назначена их происками комиссия, которая должна была поверить в Чорохские золотые прииски и следовательно способствовать продаже их по соответственным ценам. Но обман был легко обнаружен, потому что песок, насыпанный в какую-то яму, был явно сибирский, а не находился на берегах Чороха. Как-то был причастен к этой комиссии и папа. После расследования он привез мне с этого места подсыпанного магнитного железняка с мелкими блестками золота. Мне очень нравился этот угольно-черный песочек, из которого я извлекал булавкой крупички золота, и сам блистая в своих собственных глазах заимствованным блеском золотопромышленности. Хранился он у меня в деревянном футляре от термометра, откуда я по временам высыпал его на лист бумаги и смотрел, как он притягивается магнитом. Разоблачение описанного обмана мне не нравилось. Во-первых, моя мысль не вмещала мошеннических проделок, я не понимал корыстной стороны всего этого дела, и оно представлялось каким-то недоразумением. А во-вторых, огорчительно было, что папа сомневается в настоящей золотоносности нашего Чороха, конечно, несомненной, раз издалека к нам приезжал Ясон.

Миновав это, все еще остававшееся для меня под вопросом место неудавшихся приисков, дорога поворачивает в узкое ущелье Чороха и идет над отвесным, скалистым его берегом, тогда как с другой стороны дороги высятся скалы и лесистые горы. Такие же горы поднимаются по другому берегу Чороха. Любо было видеть, как туманно-голубые во влажной батумской атмосфере аджарские горы на наших глазах, по мере приближения к ним, синели, затем начинали чернеть и, наконец, оказывались зелеными или черно-зелеными, если это не была зима, тогда как на вершинах их долго держались сверкающие снега и почти всегда по утрам и по вечерам клубились туманы. Отвесные скалы во многих местах прикрыты чистейшими белыми вуалями водяных брызг и пены от бесчисленных ручьев, падающих сверху и разбивающихся с такою силою, что воды не остается в помине.

Я особенно любил великолепные базальты с их вертикально стоящими шестигранными призмами, черные и еще более чернеющие от влаги. Высоко, так высоко, что и голову не закинешь, подымается почти отвесная широкогрудая лестница базальтовых столбов с четко срезанными вертикальными гранями и точно горизонтальными шестиугольными площадками. И вся эта огромная поверхность на всю свою высоту и ширину задернута прозрачной, нежно-белой водяной тканью и дышит прохладой и чистотою.

Столбчатая отдельность базальтов проявляла мне, как я чувствовал, внутреннее строение скал и перекликалась с моими любимыми кристаллами. Когда не удавалось добраться до строения и какой-либо материал стоял перед глазами слитой массой, чувствовалась стена, отделяющая от природы, каменная стена тайны.

Напротив, всевозможные отдельности, слоистости, порядок и ритм показывали доверие природы и радовали — не рациональностью, ибо что ж тут рационального, когда их самих нужно объяснять, а именно доверием, открытым пульсом жизни природы.

На Аджарском шоссе я с детства приучался видеть землю не только с поверхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего указываемого мною чрезвычайно легко подойти, руководясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших мою мысль привычках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых я за редкими исключениями читал всегда мало, и притом всегда неохотно, а из детских наблюдений, и может быть более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород в отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающий, кусты и деревья под ними — я узнал о них не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным.




В строении моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез — близким, единовременность говорит и склонна распасться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность — это мой способ мышления, причем она воспринимается как единовременная. Четвертая координата — времени — стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали.

Отвесная скала слева, отвесная крутизна справа над стремительно несущимся Чорохом. Узкая дорога идет как по полочке, и мое сердце то сжимается ужасом, что вот немножко повернут лошади в сторону, и мы окажемся в Чорохе, или что я как-нибудь упаду прямо в эту пропасть, — то расширяется жадным рассматриванием теплых скал, усеянных шустрými ящерицами. Помню, один раз я зазевался на них и вывалился из экипажа, да так незаметно, что старшие не обратили на это внимания и отъехали на некоторое расстояние, прежде чем хватились меня. А я лежал на дороге и, несмотря на порядочный ушиб ноги, наблюдал своих ящериц. Ради этих ящериц папа довольно часто останавливал экипаж или экипажи, и мы вылезали ловить милых зверьков. Но чаще всего эта ловля кончалась для них плохо, потому что ящерица, освободив себя от схваченного нами хвоста, убежала. Хвост же делался нам вдруг протчным вследствие наших угрызений совести, хотя было занятно, но не удивительно смотреть, как бьется он, сгибаясь кольцом то в одну, то в другую сторону. Твердо запомнились мне слова старших, что он будет биться до захода солнца, и мы уезжали далее, оглядываясь на бьющийся хвост.

Пропасть Чороха сама по себе должна была быть занятой. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей, должно бы-

ло привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и многочисленные фелюги, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, медом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелюгщик отталкивается от скалы шестом и, только что быв на волосок от смерти, пронесится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь, столь же медленный, сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди побережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной веревке свою фелюгу владелец. Наяву я сам не сознавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звучанию имени мое сердце. Но зато во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Наглядным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования — душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Кумы, где внизу купались мама и тетя. Крик мамы при виде того, как я качусь по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тетя Калипсо, самое падение — все это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, — настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и тетей Юлей едем по аджарской дороге, или чаще я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Все залито знойным светом, и душно. Слева — шоколадно-бурая скала, раскаленная солнцем, она вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными, только что вылупившимися паучками немного поболее булавочной головки; большинство их ярко-красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко-желтые и ярко-изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня ощущение, что как-то они у меня



в голове. Теперь, вчувствуясь в этот доселе стоящий перед моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какою-то проекцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам; наконец, горячая шоколадного цвета скала проецирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я, не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мной в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако все описанное доселе есть только обстановка. Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, — отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется и тетя Юля, тоже тонущая. Мне смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться — словно связан, спеленут по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет, или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, — говорю порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я, собственно, не вижу, а только слышу ее, главное же — непосредственно знаю, что она там, внизу. На этом мучительном чувстве беспомощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я, собственно, плачу и чего я испугался. Я ощущал виденное во сне настолько в каком-то своем смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном — и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме.

Я знал про себя, что от малейшего моего намека должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре — своим молчанием — сонную угрозу...

Так фаэтон катил над грозным обрывом, а на дру-


той стороне дороги со скал били холодные ключи и свисали яркие цветы.

Правая сторона дороги была защищена каменной стенкой. Вдоль стенки, на правильных между собой расстояниях, стояли пологими конусами кучи щебня. Иногда попадались рабочие, греки или персы, разбивающие молотами булыжник. Иногда папа останавливал палкой фаэтонщика, чтобы осмотреть заготовленный щебень. Куча промерялась особым наугольником, затем разметывалась с целью проверки, не содержит ли она в себе земли. При этом разметывании кучи я тоже бросался осматривать щебень, разыскивая интересные минералы, и нередко находил... агат или сердолик, искрящиеся друзы горного хрусталя, дымчатого топаза или бледных аметистов в кварцитах, занимавшие меня куски фосфорита, при трении друг о друга издававшие запах и светившиеся в темноте, включения колчеданов. Затем мы бросались испить от холодного хрустального ключа, бьющего из скалы, и нарвать цветов, за которыми приходилось лезть на скалы. Но нас уговаривали оставить это на обратный путь — чтобы цветы не повяли. Следовали дальше.

Уже с нетерпением считаем версты на столбах. Вдруг ущелье расширяется — ощущение, как если бы пробку проталкивал в бутылку, и вдруг она провалилась. Это — станция Аджарис-Цкали. Отсюда одна дорога, по мосту переходя Чорох, идет по ущелью Чороха — на Артаин, а другая — по Аджарскому ущелью — на Ахалцих.

Папа, собственно, строил Батумо-Ахалцихскую дорогу, а Артаинскую — наш знакомый инженер Пасек. Но мост через Чорох — папиной постройки. Я помню, раньше тут был паром на каюках, и, приезжая в Аджарис-Цкали, мы обязательно совершали паромную переправу на другой берег — жуткое удовольствие ощущать, как паром, увлекаемый стремительно-мощным течением, кажется, вот-вот сорвется с каната. Потом, на моей памяти, стали свозить в Аджарис-Цкали большие железные трубы, фермы, бочки цемента, лебедки и краны, а к одному из приездов появился и мост; но он отнял что-то от дикости нашего Аджарис-Цкали и лишил нас парома.

Мы прочно считаем Аджарис-Цкали своим по-



местьем, гораздо более своим, нежели батумскую квартиру. Тут все уже поделено между мной и Люсей. Речка при въезде в Аджарис-Цкали — моя, и взрослыми называется не иначе, как Павлина речка. Она стала моею, когда Люся была еще совсем мала и не стремилась к собственности. Но в одну из поездок, услышав о Павлиной речке, Люся вдруг сообразила усмотреть здесь обиду для себя, раскапризничалась, как она вообще умела капризничать. Ее еле успокоили, сделав компенсацию из ручья, протекавшего несколько далее, за Аджарис-Цкали. Правда, Люсин ручей был менее Павлиной речки; но, я помню, у него оказались какие-то свои достоинства, так что мне стало завидно.

Оба этих горных потока впадают в реку Аджарис-Цкали, протекая по сравнительно небольшим ущельям. А между ними, на пригорке, стояла каменная двухэтажная сторожка для остановки проезжающих. В нижнем этаже жил чрезвычайно преданный папе, как и все папины подчиненные, сторож Ахмет, а в верхнем — были две или три комнаты, разделенные коридором. Мы считали эту сторожку собственным нашим домом, то есть не отца своего, а нашим, детским, и одна комната была моя, другая — Люсина. Приехав, располагались в этих комнатах гораздо свободнее, чем дома: ведь дома нужно было соблюдать порядок, не разводить грязи, а тут, в почти пустых комнатах, можно было делать все, что угодно. Раз или два за все время какой-то проезжающий инженер остановился в одной из этих комнат. Хотя он весьма скоро уехал, но нашему внутреннему негодованию и ревности не было конца.

Мы не могли понять, как смеет «какой-то чужой человек» располагаться в нашей сторожке и почему папа, столь внимательный ко всем нашим прихотям, не примет мер, чтобы удалить незваного гостя. Мое негодование смягчалось только тем, что занята была Люсина комната, а не моя.

Нас встречал приветливый к нам Ахмет, которого мы очень любили. Он был аджарец*.

По Батумо-Ахалцихской дороге редко кому удавалось проехать в то время, не будучи ограбленным, несмотря на сопровождение стражи и на оружие. Даже поездка в Аджарис-Цкали в те времена, то есть в восьмидесятых годах, считалась далеко не безопасной, и многим такой пикник не проходил без большой неприятности. Но я, по крайней мере внутренне, радовался, что мой аджарец защищает мои владения от непрошенных гостей. Несомненно, я, хотя и не знал этого названия, чувствовал себя феодалом, а со стороны аджарцев действительно не видел ничего, кроме знаков верноподданства. Это не было детским самообольщением; но это не было и столь само собою разумеющимся, как представлялось мне, ибо происходило в силу совершенно исключительных отношений этих аджарцев к моему отцу.

С ним по этой дороге ни разу ничего не случилось, даже встречи неприятной не было, и вещей с задка фаэтона у него никогда не отрезали. Между тем отец всегда отказывался от стражников, предлагавшихся ему властями ввиду опасности подобных разъездов, и не только не возил с собою, но и дома не имел никакого оружия: единственное, с чем он ездил, была палка. Мало того, он не давал поблажек и требовал от служащих «добросовестного», как он обычно говорил, отношения к делу, и если усматривал противное, то по вспыльчивости мог сильно накричать. Он требовал абсолютной честности, и малейший признак неряшливости, грязи и беспорядка мог вызвать в нем приступ гнева, правда, очень кратковременного, но — до самозабвения. В частности, абсолютная чистота требовалась им и на всем протяжении шоссе. Он выходил из себя, заметив на шоссе сколько-нибудь пыли, немного земли, бумагу или щепки. Когда он кричал, рабочие претерпевали гнев, принимая его как должное: но высшей мерой гнева — уже нам непереносной — было другое, — это молчание папы: выхватив метлу у ближайшего из рабочих, папа начинал усиленно мести сам и делал это довольно долго.

* Аджария — одна из исторических провинций Грузии.

Возможность этого знали и чрезвычайно боялись все, рассматривая как свой позор. Однако, несмотря на эти его вспышки, все служащие были очень преданы не за его справедливость, благожелательность и щедрость. По тесной клановой сплоченности всех аджарцев, преданность одних, служащих, обязывала к тому же всех рабочих. Сам того не зная, папа всегда окружен был стражей, готовой отстаивать его от малейшей неприятности, и даже те, посторонние, кого поручал папа кому-нибудь из служащих как своих гостей, пользовались тою же безопасностью. По-видимому, папа даже не вполне сознавал, под какую угрозою находился бы он, если бы не был признан горцами законным главою Аджарского ущелья. Уже после кончины его один из служащих приехал в Тифлис искать у отца места себе и, узнав, что уже нет его в живых, расплакался и стал восхвалять его. А затем он рассказал об этой охране его в Аджарии самими горцами и, в частности, вспомнил один случай, отцу моему оставшийся неизвестным: однажды он ночевал в сторожке на станции Куло*. Прослышав, что кто-то остановился на ночевку, окрестные разбойники явились сделать свое дело. Но их встретили бывшие тут служащие и объявили, что они не допустят даже разговоров, которые могли бы взволновать их начальника, и разбойники мирно разошлись по своим аулам**. Рассказчик говорил мне, что без такого вмешательства отец тогда же не остался бы в живых.

Вот эта-то преданность отцу распространилась и на нас, и я ясно чувствовал себя владетельным князьком аджарских гор.


Вышедший навстречу Ахмет вносил меня на руках по лестнице, а Люсю, если она тоже приезжала, нес сам папа. Умывшись холодной водой из ключа, мы, больше я, бежали к ущелью моей реки. В это время ставился самовар, варились крутые яйца и жарились на вертеле куры, неизменная принадлежность Аджарис-Цкали, и иногда — варились в соленой воде ад-

* Имеется в виду Хуло, ныне районный центр.

** То есть деревням.

жарис-цкальская форель с красными пятнышками по бокам. Кроме того, неизменно же подавался Ахметом кукурузный хлеб — чад*, мацони, то есть особого вида кислое молоко в глиняной чашке, и лепешка местного сыру, весьма странного и до сих пор мне непонятного по своему сложению: он состоял из длинных упругих волокон, наподобие туго спрессованной кокосовой мочалки для мытья, и стоило схватиться за конец этих волокон, как сырная спираль разматывалась. Все это было очень свежее, а после двухчасовой поездки, или более, елось с большим аппетитом. Но мирность нашего завтрака каждый раз нарушалась делением аджарис-цкальской курицы. Большинство частей ее были именные, и нарушать права собственности представлялось нам почти в том масштабе, как теперь представляется нарушение международного равновесия. Малейшая невнимательность со стороны тети Юли или кого-либо еще из старших — и возникала угроза основам мировой справедливости. Это — не преувеличенный способ выражения: правовые понятия мои были абсолютными и несомненно были священными нормами. Тут дело — не в любимых кусках, а именно в сознании вековых устоев священного права, уступить — я уступал охотно, но я не мог допустить невнимательности к порядку, который, казалось мне, коренится в существе вещей. Я — хозяин Аджарис-Цкали (остальные участвуют в этом только из-за меня), и было бы порухой моему владетельному достоинству легкое отношение к древним ритуалам, — а я ощущал себя незапамятные годы владеющим этим феодем, другого владетеля, казалось мне, у этих мест никогда не было, и хотя я знал, что некогда родился и даже любил считать себя и называть маленьким, но в вопросах, подобных владению Аджарис-Цкали, отношению к родителям и т. д., определенно ощущал себя над временем. Знаком моей вечной власти была аджарис-цкальская курица или куры. Некоторые части я и не любил и, главное, считал невозвышенными. Но их как раз ценила Люся. Поэтому, когда ей давались куриные ноги, я нисколько не возражал, да и не посягнул бы на часть, принадлежавшую ей по праву;

* Мчади.



моими же были крылья, высушенные и поджаренные в пламени до полной твердости. Я с удовольствием грыз их, особенно кончики, причем мне нравился запах подгорелого мяса и возвышенность названия: в моем делении вещей и явлений полет и крылья относились к разряду благородного и поэтического, о чем я никогда не мог подумать без трепета, тогда как ходьба и ноги — к житейскому и прозаическому. Владетелю Аджарис-Цкали, конечно, приличествовала хотя и тощая, но благородная часть, а вульгарная мясистость ног не делала их достойной пищей. Далее, Люсе принадлежала печенка, а мне желудок. В дряблом сложении печени и в ее жирности я ощущал нечто низменное, и даже когда за отсутствием Люси мне предлагалась и печенка, я отказывался от нее, как от чего-то ниже своего достоинства. Напротив, напряженная упругость желудка и определенность структуры его ткани свидетельствовали мне о достоинстве этой части. Конечно, тут значил нечто и вкус; но главными все же были соображения о достоинстве, может быть, и смутные, но метафизического порядка. Белого мяса мне хотелось, и при случае я ел его. Но так как ценил я его лишь в порядке вкусовом, метафизически же его достоинство не было мне ясным, то настаивать на грудинке я никогда себе не позволял: требовать метафизически безразличного и, следовательно, обнаружить свое стремление к еде как чувственному вкусовому предмету значило в моих глазах утратить свое священное достоинство и лишиться какого-то сана. Наконец, самый трудный вопрос дележа были яйца, не вареные яйца в скорлупе, а — из курицы. Мои интересы тут сталкивались с Люсиными. Правда, в обыкновенных крутых яйцах желток, как желтый, жирный и слишком материальный — рассыпается и мажется, — представлялся мне не из числа возвышенных предметов, не в пример белому, таинственно голубеющему и упругому белку. Ценил я лишь этот последний, тогда как у Люси был взгляд обратный, и потому мы обменивались нелюбимыми частями яйца. Но яичные желтки непосредственно из курицы, вопервых, таинственны по своему происхождению. Эти

яйца надо было разделить, начиная с наибольшего — одно мне, другое Люсе, одно мне, другое Люсе. Но трудность — кому первое. Конечно, я считал, что первое приличествует мне; но тут Люся нередко поднимала скандал и тем получала желаемое, а я успокаивался тогда на мысли, что доставшиеся мне в виде компенсации самые мелкие яички в неопределенно большом числе и несут в себе самую тайну.

После завтрака со всеми его подводными камнями надо было приступить к наиболее важному — к цветам.

Выходили все, рассыпались в разные стороны. Позади сторожки была поляна. Теперь там густые насаждения субтропических кустов и деревьев, сделанные папой. Помню, как в один из приездов мы нашли нашу поляну всю взрытой ямами, и среди них одна была особенно велика. Около сторожки лежали и стояли растения, привезенные, помнится, из Сухума. Папа распорядился о посадке этих растений при нас, и мы тоже посадили, каждый себе на память, по дереву. Все насаждения были сделаны; общее недоумение возбуждала огромная яма, причем уже не оставалось непосаженным ни одного дерева. Тогда привезенный садовник, под дружный смех всех рабочих, вынес из сторожки еле видимый саженец, который объявил кедром. Сад этот впоследствии пышно разросся, но кедр, несмотря на тщательно разрыхленную и заготовленную для него почву, не принялся.

Вот на этой-то поляне, и до, и после насаждений, мы начинали свои цветочные сборы, а оттуда, увлекаясь, шли и ползли далее, хотя это считалось не совсем безопасным, — конечно, из-за змей, которые выползали из-под всех кустов и, шелестя листьями, скрывались в сплошных зарослях.

Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского побережья, и в особенности — аджарских, тому трудно дать представление о переизбытке растительной жизни, делающей здешние заросли сплошным клубком сплетающихся между собой стволов, гибких стеблей, растительных плетей, веток. Растения тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обрастают стволы каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш и т. п. Но эти



красные, покрытые темно-зеленой мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много деревьев, уже засохших и гнилых, стоящими, а то и упавшими от этого украшения. Между больших деревьев — меньшие: жесткая зелень кавказской пальмы или самшита, произрастающей здесь, стволы до пол-аршина толщиной поперечником, джонджоли, хурма, разные виды алычи, мушмула. По деревьям вьется виноградная лоза, все переплетено колючими и словно стальными стеблями салсапорели, ежевикой и другими вьющимися растениями. Они взбираются по стволам до вершины дерева и свисают оттуда мощными сплетениями, перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собою, загораживают непроходимыми заставами все проходы. Пробраться сквозь эти лианы нет никакой возможности. Не видишь ничего, кроме таинственного зеленого полумрака, ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Не понимаешь куда идешь, на что ступаешь. Под ногами огромные, густые, пахнущие не то огурцами, не то сыростью, папоротники весьма различных видов, по сторонам везде задержки, и бесчисленные шипы вонзаются так, что не сделать ни шагу. Если как-нибудь все-таки забрести в такой лес, то в нем пришлось бы погибнуть, несмотря на обилие растительной пищи. И мы, конечно, не осмеливались делать таких попыток, хотя с удовольствием собирали плоды и ягоды при входе в него. Лесной виноград, одичавшие яблоки и груши — вероятно, остаток старинных садов, ягод салсапорели, земляника и полевая клубника, хурма и мушмула, плоды которой называются здесь «шишками», крупные ягоды шиповника, черника, каштаны, грецкие и мелкие орехи, буковые орешки и многое другое доставляли нам окраины лесных зарослей. Были там также дикие абрикосы, очень вкусные, но почему-то считавшиеся вредными и нам почти запрещенные. В разные времена появлялись разные добычи, иные, вроде винограда, хурмы и шишек, были хороши лишь после первых заморозков, но зато держались на деревьях всю зиму. Наиболее же достойными внимания казались нам, в связи с далеким севером, березы и ря-

бины, которые росли в горах и о которых сообщал нам папа. Грозди рябины после заморозков доставлялись нам из Аджарии и шли на варенье. Но плоды и ягоды считались нами за баловство, а делом были цветы. Они появлялись в Аджарис-Цкали в окрестностях Батума рано, приблизительно с половины января. Сначала крокусы, колхики белые, розовые, сиреневые, иногда фиолетовые, безлиственные вестники весны покрывали своими чашечками все поляны. Затем «молочный цвет», по выражению древних, подснежник, и другой — двух видов, из которых один, с более крупными, но более грубыми цветами, произрастал на болотах и был потому нам малодоступен, а другой — более благородный, по моей оценке, можно было находить и на сухой почве. Я волновался изысканным видом этих цветов с тремя осями симметрии, двойным рядом лепестков различной формы и тонким зеленоватым ободочком, в сочетании с белой окраской всего цветка и желтыми тычинками казавшимся мне исключительно изящным. Принадлежность подснежника к луковичным, их трехосность, почти флюорестирующего самосвечения, яркая желто-зеленость их всюду упругих листьев и стеблей, упругая сочность всего растения, тонкая перепонка на цветочной стрелке, застенчивая опущенность цветочного венчика, свисавшего колокольчиком, наконец, первое появление его после зимы, хотя и слишком недолгой в нашей Колхиде, — все делало этот цветок мне родным. Другой же вид, более пышный и менее упругий, я признавал лишь по сходству с этим.

Начиная с поздней осени и до ранней весны по аджарской дороге находили мы рождественскую розу. Этот крупный и грубоватый цветок с жесткими лепестками без запаха казался скорее занятым, нежели привлекательным, по своему названию и странному, грязно-бледно-зеленому цвету своих лепестков, тычинок и пестика. Странно было видеть цветок, мало отличающийся по окраске от листьев и стебля: вид его и цвет были совсем ноябрьскими — хмурые, угрюмые, враждебные. Сюда присоединилась еще его ядовитость. Он был для нас цветком зимы. Напротив, наступление весны мы узнавали по фиалкам и цикламенам. Обыкновенно старались не пропустить первого



появления этих цветов, всегда распускавшихся вместе. Отправлявшимся по дорожным делам служащим папа наказывал посмотреть, не распустились ли они, и не вестить, когда это случится. Получив эту весть, папа объявлял нам: «фиалки и цикламены распустились», вероятно, не менее торжественно, чем афинский жрец, провозглашающий наступление весеннего праздника цветов — анфестерий, и это значило: на днях едем в Аджарис-Цкали. Бедный папа. В своих заботах о семье ведь он восстанавливал культ ларов и пенатов, только обратно — из прошлого в будущее, а в любви к природе — тоже древнее культовое отношение к ней. Я радовался цикламенам, потому что казалось нарушением всякой правды не восхищаться этими нежными розовыми цветками, иногда красными, иногда сиреневыми, с тонко проработанной окраской их лепестков, с красными крупными цветоножками, со странными сердцевидными листьями и еще более странными, несколько приплюснутыми в виде апельсина клубнями. Серовато-зеленый цвет листьев, тончайшая зернистость лепестков, искрившаяся на солнце, — все это должно было привлекать к этому растению. Но чувство к природе так же прямолинейно, как и чувство к человеку: я был враждебен к цикламенам за какую-то, почти неуловимую нескромность, за нарочитую изысканность отворота их лепестков. Они казались мне прямою противоположностью своим же ближайшим родственникам фиалкам с их теплым благоуханием, с их бездонным пурпуровым бархатом венчиков, оттеняемым золотисто-оранжевыми тычинками, и с тончайшими темно-пурпуровыми прожилками лепестков. От папы я знал, что не удастся искусственно составить эфирное масло фиалки (это удалось значительно позже), как не удастся извлечь его из самих фиалок. Цвет их — подлинный цвет — древнего священного пурпура. И вместе с тем эти священные глаза природы, царственные и благоухающие, прячутся, издали лишь объявляя себя нежным запахом. Есть только один запах, родственник этому, хотя несколько грубее, а также — сильнее. Я волновался им, долго не был в состоянии себе уяснить, почему вдруг так


пахнет иногда, явно что издали, фиалковыми дугами. Расспрашивал, и никто не давал ответа. Наконец нашел сам источник этого благоухания в цветочках еще более скромных и видом и цветом: благоухала распускающаяся виноградная лоза с высоких дерев. Потом детством пахло мне уже в академии со страниц библии, когда самым признаком весны в Песне Песней указывается:

«И виноградная лоза, распускаясь, издает благоухание...» Так и весна моей жизни была провеейна для меня этим благовонием фиалки и виноградной лозы.

Среди первых цветов батумской весны с детства мне запомнились только первоцветы — примулы. Сперва распускался розовый вид с отдельными цветами, затем и другой розовый, у которого на стрелке поднимается цветочная кисть, затем желтый, теплого, иногда персиково-желтого цвета, тоже с цветочными кистями, несколько напоминающий среднерусские баранчики. Но легкий персиковый запах северных баранчиков там был густым, словно от корзины настоящих персиков, и необычно вкусным, хотя и слишком сытым, съедобным слишком для цветов.

В Аджарис-Цкали, преимущественно в теневых местах, скромно прятался приятно-глубокий темно-голубой барвинок; выскакивали из земли синие подснежники, идущие там в посоленном виде на еду, любимые мною полевые гиацинты, темно-синие, темно-фиолетовые и темно-голубые, иногда почти черные, привлекали меня своей луковичностью, тугою плотностью своих кистей из четкоточеных шариков, в которых, при внимательном разглядывании, можно было рассмотреть множество мельчайших, четко проработанных подробностей.

Было немало ирисов, фиолетовых и желтых, из которых первые росли в воде источников и отличались крупными цветами. Я знал, что из корня их делается «фиалковый порошок», и это само по себе было достоинством в моих глазах. Была привлекательна непонятная мне трехосность их цветов, уплощенность их листьев, их воздушность. Но и они одобрялись мною как-то формально, с тайным неодобрением их нарочитой поэтичности, слишком явной нарядности, через несколько минут превращающейся в букете в



слизистый черно-фиолетовый комочек. Меня самого удивляет детская двойственность: наряды весьма занимали меня, изящный костюм и заботы о нем не представлялись пустяком, несмотря на внушения мамы. Но когда я в природе усматривал малейший оттенок вычурности, я сразу утрачивал личное нежное чувство и смотрел внешним взглядом. Пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки и другие простые цветы были мне гораздо ближе, я чувствовал их себе родными и потому старался оказать им полное внимание. Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы — мои цветы, любимые мною, — любят меня, цветут именно для меня, и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее — раной, их горячему ко мне чувству. Люди, и тогда, и после, казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит — по своему желанию, и, не получая ответа, не только не должен жаловаться, но и огорчаться. Когда впоследствии я стал глотать романы Вальтер Скотта, любовные вздохи мне казались настолько бессмысленными, что я считал этот род явлений придуманным нарочно для фабулы романа и не верил искренности этих томлений. Совсем другое — цветы. Они любят меня, потому что не могут не любить, для любви и вырастающие. Правда, любят не все: есть грубые цветы вроде рождественской розы или царского скипетра, которые тупо воспринимая жизнь. Есть также самодовольные цветы, занятые самими собою, вроде цикламенов и присов. Но большинство цветов видят во мне своего повелителя и друга. Не сорвать такой цветок и не повезти его домой, когда он только и ждал моего приезда и нарочно к этому времени распустился, — разве это не значит огорчить его в лучших его чувствах. И я старался, сколько хватало сил, никого не обидеть. Не разгибая колен я ползал на животе, я собирал, собирал до изнеможения, относил к тете Юле вороха цветов, потом бежал на новые сборы, опять притаскивал ей и опять убегал, заваливая ее цветами. Меня угова-

ривали: «посиди, отдохни», но я отзывался недосугом: «надо порвать еще цветочков» и снова убегал.

В тете Юле чувствовалось мне сочувствие, но не знаю, было так или мне казалось, она молчаливо разделяет мое отношение к цветам. Своим долгом, долгом ответной любви, считал я оборвать все цветы до единого, все, а тем более — все фиалки. Но предо мною расстилались густо поросшие цветами, теми же фиалками, поляны, за полянами другие, и все, как в лучшем цветнике, сплошь покрытые цветами. Как ни старался я, а моей работы даже на ближайших местах не было нисколько видно: ведь вороха цветов можно было набрать там, не сходя с места. К тому же при обсуждении отдельных цветов я мог почувствовать относительно их нечто неодобрительное, но цветочное царство в целом любил до самозабвения и считал, что я не могу не любить его, если даже моя фамилия — как я тогда думал — происходит от Флоры, богини цветов. И потому внутренняя необходимость собирания цветов распространялась на все царство Флоры. Я рвал и рвал, а предо мною расстилались горы, все склоны которых были покрыты цветами, и тогда я начинал чувствовать, что обиженных останется целое Аджарис-Цкали.

День клонится к вечеру; папа зовет нас собираться домой. Я говорю «сейчас» и продолжаю рвать; потом снова зовут — «папочка, подожди немного», и опять рву, уже судорожно, а сам плачу от радости, целую цветы, обливая их слезами, испрашивая прощения, обещаю очень скоро снова приехать и тогда уж наверное сорвать их. Тем временем старшие ломают огромные букеты рододендронов, великолепных розовых, белых, красных, сиреневых, с крупными, но, к сожалению, легко опадающими венчиками и красивыми глянцевыми листьями. Этот вид, растущий большими кустами, не следует смешивать с поэтическим же видом рододендрона, мелкоцветным и сравнительно мелкоцветным, сплошными непроходимыми зарослями по многу квадратных верст покрывающих кавказские горы и растущих так плотно, что иногда

происходят пожары от их самовозгорания. В Аджа-рис-Цкали рос более благородный крупный вид.

Кроме того, неизменная принадлежность Аджа-рис-Цкальской поездки — не менее огромные букеты темно-желтых акаций, так густо цветущих, что их клейкие от смолистого сока ветки имеют даже мало листьев.

Все эти букеты, веники, ветви, венки, куски дерна с целыми растениями, наконец просто охапки цветов с большим трудом и совокупными усилиями всех, начиная от папы и кончая Ахметом, размещаются в фаэтонах, буквально со всех сторон, так что нам самим еле можно втиснуться. Цветы привязываются на задок, на верх фаэтона, который обыкновенно подымается из-за наступившей вечерней сырости, всовываются в фонарные кронштейны, на козлы фаэтонщику, кладутся ему под ноги, надеты на нас на головах и ими заняты все руки. Когда уже мы уселись, укутавшись обязательно пледом, Ахмет заставляет подожки фаэтона новыми связками привязываемых там цветов. Наконец упаковка нас с цветами кончена, и папа говорит извозчику «пошел». Мы выкрикиваем прощание Ахмету и другим служащим и милостиво утешаем их в своем отъезде, обещая скоро приехать снова. Из-за передней скамейки теперь уж особенных споров не происходит: прохладно, и мы скорее стараемся втиснуться в теплое гнездышко между взрослыми или мирно устраиваемся на дне кузова среди цветов и под пледом.

По шоссе катится цветочная корзина; теперь уж быстро — тогда как туда экипаж ехал, постоянно замедляемый отцом.

Не останавливаемся, насыщенные и впечатлениями и цветами, благоухание которых к ночи окружает

и фазтон. Наскоро съедаем чего-нибудь, не останавливаясь. Вот чернеет и марганцевая гора при въезде в Чорохское ущелье. Значит, недалеко и Батум. В полутьме мелькает негрская колония, проезжаем по последнему мосту, и вот уже нас целует мама, соскучившаяся по нас, как будто мы уезжали на год. После ужина наскоро раскладываются в сосуды с водою привезенные цветы; кроме многочисленных ваз, — из них некоторые совсем большие, — приходится занять под цветы и салатники, и супники, и блюда, и глубокие тарелки, и стаканы... Чистовой разбор цветов предстоит завтра, с утра, лишь только встанем. А сейчас сквозь полусон я слышу беспокойные разговоры старших, что нельзя же оставлять на ночь в комнатах такое количество сильно пахучих цветов, особенно азалий. Папа напоминает случаи, едва ли не батумские же, когда неопытные приезжие любители цветов засыпали и уже не просыпались, поставив на ночной столик возле постели один только букет этих желтых, поэтических азалий. Он рассказывает также, уже не в первый раз, что благоуханнейший мед с этих цветов смертелен, но убивает при еде одним только своим ароматом; изредка он попадает у нас на рынке, но знающие люди тщательно избегают его. Действительно, азалии изливают по всем нашим комнатам крепкий до едкости запах. Это не душный запах черемухи, не липкий запах многих садовых растений; в нем нет ни приторности, ни влажности, ни чувственности — он строг, отчасти напоминает некоторые сорта ладана. Безмерно превосходящий по силе прочие благоухания, которыми сейчас наполнен воздух всей квартиры, и заглушающий всех их, запах азалий не кажется, однако, навязчивым или неприятным: просто воздух стал плотным, как прозрачное твердое тело. Но кажется ли это мне со сна, или есть на самом деле, а я вижу стремительно несущиеся от азалий по

воздуху тончайшие, как те лучики, что окружают ночник при зачуренных глазах, с мой тогдашний палец длиною, стрелы. Они того же янтарно-желтого цвета, как и самые цветы, их рассылающие. Они несутся потоками воздуха и так тонки, что втыкаются своими ядовитыми остриями без боли. Но если их воткнется много, то умрешь, отравленный этими стрелами, похожими на золотые стрелы Аполлона. В полусне же я слышу, как взрослые, закончив свой ужин, двигают стулья и уносят часть губительных цветов наружу, и я засыпаю, как это весьма редко случается, без мучительного ворочания с боку на бок и сплю без снов всю ночь.



Георгий МЕРКВИЛАДЗЕ

За

**высоко нравственного
современного героя**

НАВСТРЕЧУ

XXVII СЪЕЗДУ КПСС

И XXVII СЪЕЗДУ


КОМПАРТИИ ГРУЗИИ

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ литературе каждой эпохи, особенно в периоды, связанные с решающими сдвигами в духовной и социальной жизни, морально-нравственная проблематика проявляется с особенной силой и актуальностью.

Художественное мышление в это время стремится выявить, познать новые аспекты таких вечных понятий, как мораль, нравственность, гуманизм, найти в них новое содержание, отвечающее запросам времени, кое-что отвергнуть, кое-что поддержать и утвердить.

Интерес творческой мысли к морально-нравственным проблемам усиливается не только в тех случаях, когда общественное развитие настоятельно требует прогрессивных новаций в сфере морали и отказа от устаревших норм, но и в условиях проявления тенденций нравственного перерождения, когда общество заболевает тяжелым недугом антиморали.

Утверждая и пропагандируя одни морально-нравственные нормы и отвергая другие, литература берет на



себя величайшую ответственность перед лицом народа и общества. Ее соответствие устремлениям и интересам народа в значительной мере обусловлено именно моральными принципами.

Неоспоримая истина: каково общество, такова и его мораль, нравственность. Литература же представляет собой художественный феномен оценки и осмысления этой морали, активного отношения к ней определяющего общественного мнения, силу, в определенном смысле направляющую, формирующую, воздействующую на эту самую общественную мораль.

Взаимоотношения между людьми, положение человека в обществе, его ответственность и долг перед обществом, возведенные в ранг морального кодекса, обуславливаются закономерностями общественной жизни, ее запросами, потребностями.

В соответствии с этими запросами социально организованная личность сама устанавливает для себя, общественного индивидуума, морально-этическое кредо как общепринятую и обязательную норму. Человек в обществе ценится прежде всего по тому, насколько вся его жизненная практика соответствует нормам общественно-бытовой морали, каково его отношение к прогрессивным нравственным идеалам.

Человек — это социальный феномен, подчиняющийся законам высоконравственного общества как общепринятым и обязательным жизненным нормам, но в эту «жесткую» и детерминированную этическую систему он, вольно или невольно, неизбежно вносит собственные коррективы: либо последовательно улучшает, совершенствует, обновляет, возводит в новое качество нравственно-этические нормы, либо же, наоборот, принижает, огрубляет, попирает их, превращая, по сути дела, в антимораль.

В конкретных фактах подобного рода, как правило, всегда проявляются противоположные тенденции, содержащие огромный общественно-социальный смысл.

Жизнь, в определенном смысле, не что иное, как противоборство тенденций, отражающих многие сферы духовного мира. Это противоборство по своему характеру бескомпромиссно, поскольку подчинено более значительному социальному процессу.

Существуют традиционные, сформировавшиеся на протяжении столетий нравственные нормы, как бы обязательные для людей любых социальных формаций. Они переда-

ются от одного поколения к другому, от одной системы к другой как величайшая духовная ценность, завоеванная человечеством. Но поскольку нравственность, мораль, **этика** — феномен социальный, в каждой отдельно взятой социальной системе они отмечены собственными классовыми и эпохальными признаками.

Неизбежные, неотвратимые вопросы — кому служат нравственность и мораль, каково конкретное содержание, заключенное в них, какое конкретно-практическое воплощение получают они — постоянно придают проблемам нравственности и морали остросоциальный смысл.

Наглядное подтверждение этому мы видим на примере литературы, а в более общем плане — искусства в целом.

Нравственные проблемы, поставленные в том или ином произведении, как правило, органически соответствуют его внутренней социальной, классовой, партийной сути. Наряду с другими аспектами, они определяют социально-идейный пафос сочинения, его остроту и проблемность, приводя в действие весь сложный и многогранный «организм» произведения, являются его внутренней движущей силой.

Морально-этическая проблематика постоянно составляла предмет особой заинтересованности литературы. Это естественно и закономерно, поскольку именно литература отражает взаимоотношения между людьми, а эти взаимоотношения основываются на принципах морали, нравственности; именно литература воплощает душу человека, а духовная жизнь определяется моральными, нравственными нормами; именно литература выражает человеческие радости, горести и увлечения, а они в значительной степени сфокусированы как раз в моральных, этических аспектах.

Стремление искусства сделать человека более совершенным выражается прежде всего в утверждении высокой морали независимо от того, в каком именно плане оно осуществляется — путем показа идеала, которому должен следовать человек, или же путем разоблачения антинравственности.

С развитием общественной жизни нравственная проблематика в литературе приобретает все большую остроту и актуальность, к тому же в каждую отдельно взятую эпоху в соответствии с требованиями новых социальных формаций она приобретает особые характерные черты и признаки наряду с теми традиционными, что передаются от эпохи к эпохе как этическое наследие.

Например, нравственные догматы героя античной лите-



01535940
302 0110333

ратуры получают новое осмысление и развитие в литературе средневековья; Ренессанс принес с собою новую интерпретацию этической традиции, которая претерпевает значительные изменения с обострением противоборства сил добра и зла; а в мировой литературе XIX столетия нравственные категории вообще воспринимаются с особой остротой, как ярко выраженные социальные факторы на фоне духовного кризиса, охватившего человека.

И в эти периоды, и в дальнейшем постепенно все более и более отчетливо проявляются две диаметрально противоположные этические концепции, сущность которых определяется жизненными потребностями и принципами различных социальных систем.

Советская литература принесла с собою новый подход и к морально-этической проблематике. И в этом подходе проявился ее новаторский характер по сравнению, скажем, с литературой критического реализма.

Разумеется, высоконравственный аспект был присущ и литературе критического реализма. Ее обличительный пафос основывался именно на нормах высокой морали, однако, как правило, этот пафос проявлялся в виде осознанной необходимости. В остроте и силе обличения выражались, в основном, сострадание к человеку и протест против разлагающегося, аморального общественного устройства. Эта литература сыграла величайшую роль в деле утверждения моральных устоев человеческой личности. Однако этого, оказывается, далеко не всегда достаточно для духовной организации современного человека и всего современного общества в целом.

Принципы художественного метода советской литературы в данном случае все более и более совершенствуются. Недостаточно только сочувствовать и сострадать человеку, напоминать о его нравственном долге, надо способствовать развитию моральных достоинств, утверждать гражданскую, этическую позицию личности, делать ее активной проводницей высоких моральных норм, бороться за ее духовное морально-этическое единство и цельность. А всё это неизбежно включает в себя и аспект будущности, перспективы.

Социалистическая действительность принесла с собою новые моральные нормы; человек социалистического общества со своими задачами, целью, сутью и положением предстает как совершенно новый духовный феномен. По сравнению с людьми предшествующих социально-общественных формаций он находится в новых, невиданных ранее взаимо-

отношениях с обществом, со средствами производства, с государственной властью, со всем социальным окружением. Этим определяется и новизна его морально-этического идеала, его противопоставление нравственным нормам буржуазного общества, критицизм к принципам морали этого общества. Ему органически чужды апология индивидуализма, составляющая сущность, сердцевину буржуазной морали, и возведенные на этом фундаменте общественные отношения.

Таким образом, новые нравственные устои принципиально отличны от всех прежних моральных норм и в соответствии с этим потенциально содержат в себе богатейшие возможности выявления человеческого в человеке.

Противостояние прежним нравственным канонам уже само по себе подразумевает бескомпромиссное неприятие норм устаревшей морали, разрушающей личность, лишаящей ее твердости и силы воли, веры в высокие идеалы, ниспровергающей гуманные убеждения.

Новая мораль с ее борьбой за самоутверждение — явление тотального характера, его нельзя сводить исключительно к противоборству с морально-этическими установлениями устаревшей социально-общественной формации. В самих недрах нового общества нормы морали предшествующих поколений и формаций сохраняют достаточно прочные корни, полное выкорчевывание которых — дело сложное и длительное. Именно в сфере морали особенно жизнестойки и прочны отдельные укоренившиеся отрицательные традиции. Для их преодоления и искоренения необходима длительная упорная и последовательная борьба целых поколений.

Вместе с тем антимораль не всегда является порождением отживших традиций. Жизнь — настолько сложный феномен, что зачастую и в условиях новой действительности возникают тенденции аморальности, обусловленные определенными отрицательными явлениями. И новой этике, новой морали приходится вести принципиальную борьбу против подобных тенденций, преодолевать, изживать их.

В силу сказанного становится понятно, как сложна и нелегка роль новых этических норм в жизни общества. Именно поэтому они нуждаются в постоянной поддержке для утверждения, укоренения в общественной жизни.

Для современной грузинской прозы характерен традиционный интерес к моральному, нравственному аспекту жизни человека в обществе, отличающийся, однако, новаторским подходом к морально-этической проблематике, перенесением

ее в сферу новых духовно-нравственных запросов и потребностей.

В широком смысле слова морально-этическая проблема затрагивается во многих современных романах, повестях и рассказах, поскольку отражаемая ими тенденция касается и сферы духовной жизни и, таким образом, закономерно подчиняется общему разоблачительному и отрицательному пафосу, которым проникнуто художественное произведение как некая составная часть общего целого.

В грузинской прозе последней четверти столетия (особенно на протяжении последнего двадцатилетия) появляется на свет целый ряд таких произведений, в которых нравственность, морально-этические проблемы выдвинуты на первый план.

К ряду таких произведений принадлежат: «Клад» Д. Шенгелая, «Да здравствует Дон Кихот!» К. Лордкипанидзе, «Цотне» Г. Абашидзе, «Белые флаги» Н. Думбадзе, «Таинственный голос» Р. Джапаридзе, «Волны стремятся к берегу» А. Сулакаури, «Дата Туташхиа» Ч. Амиреджиби, «Новый горизонт» Л. Авалиани, «Зеленая ветка» А. Каландадзе, «И всякий, кто встретится со мной» О. Чиладзе, «Туман» О. Чхеидзе, «Камень чистой воды» Г. Панджикидзе, «Тутарчела» Н. Цулейскири, «Кабахи» Л. Мрелашвили, «Жилабыла женщина» О. Иоселиани, «Бассейн» Т. Чиладзе, «Одолей алчность свою» Г. Цицишвили, целый ряд романов, повестей и новелл Э. Кипиани, Г. Гегешидзе, Р. Чеишвили и др.

В этих произведениях в том или ином плане ставились такие острые морально-этические проблемы нашей современной действительности, как, с одной стороны, отношение воспитанной на высоких гражданских принципах личности к обществу и к самой себе; требовательность и ответственность во взаимоотношениях общественного и личного; осознание собственного призвания и долга и последовательная верность этому призванию; гуманизм, человеколюбие как истинное мерило отношений людей друг к другу, а, с другой стороны, духовная деградация как проявление полного краха личности; современное мещанство и его античеловеческая сущность; антиобщественная природа карьеризма, приобретательства, стремления к незаслуженной славе и благоденствию и прочие распространенные явления, которые противопоставляются высоким принципам гражданственности, человечности, добра и красоты, представляя как воплощение величайшего зла в жизни.

С этой точки зрения в грузинской прозе последнего периода уже утвердилась весьма примечательная традиция нового эстетического критицизма, который в наше время находит многоплановое проявление и в творчестве современных молодых прозаиков, присутствует в виде здоровой, высоко-нравственной тенденции.

Это в высшей степени примечательно, поскольку данная тенденция явилась эстетической необходимостью, своего рода истиной; взращенная на высоких гражданских принципах литература отображает все острые проблемы жизни, имеющие по своей негативной или позитивной сути общественно значимую ценность.

Искусство не является и не может являться непосредственной реализацией только идеального; оно в определенном смысле отражает смену света и тени, взаимообусловленность и «насильственное» сосуществование диалектически противоположных начал. И главное в конечном счете то, в каком именно аспекте освещается это «сосуществование», в каком плане раскрывается и фокусируется оно, что акцентирует художник, отображая действительность, как интерпретирует ее.

Естественно, что тенденция критицизма в прозе последнего периода проявляется довольно сильно, однако это вовсе не означает одностороннего отношения к действительности. Во-первых, проза последнего периода следует замечательной литературной традиции 20-х годов, обуславливает критический подход к действительности (в произведениях Нико Лордкипанидзе, Михаила Джавахишвили, Константинэ Гамсахурдиа, Лео Киачели, Демны Шенгелая, Серго Квдиашвили, Константина Лордкипанидзе) как обязательную ступень в истории эстетического развития общества, она в полной мере выявила жизнеспособность этой традиции. С другой стороны, главное все же то, что в выборе и осмыслении отображаемого материала, как правило, проявлялась активная гражданская позиция писателя и стремление утвердить и воплотить объективно познанные возвышенные идеалы.

Тот факт, что современная грузинская проза сумела как в указанном, так и в другом — позитивно-утверждающем плане, не только проникнуть в глубинные пласты жизненной правды, но и принципиально осмыслить и проанализировать их, свидетельствует о ее все совершенствующейся зоркости и проницательности, высокохудожественном освоении нового материала и активном писательском отношении к жизни.



В грузинской литературе уже второй половины 50-х годов явственно проявляется усиление интереса к морально-этической проблематике, художественная мысль обнаруживает в ней новые нюансы, показывает их в новых идейно-содержательных аспектах.

Художник пересматривает свое отношение к данной проблематике: за маской идеального героя, созданного в условиях господствующих тенденций бесконфликтности, он уже в состоянии обнаружить многочисленные типические черты характера, не соответствующие современным нормам высокой морали, и смело вынести их на идейно-эстетический суд обществу. Выяснилось, что концепции положительного героя, прогрессивные сами по себе, в художественной практике отдельных писателей, отличающихся ложно-патетической манерой, в значительной мере приносят в жертву обязательные эстетические законы раскрытия и преодоления жизненных проблем и противоречий.

Так появился на свет сначала «Клад» Демны Шенгелая, за которым последовали «Да здравствует Дон Кихот!» Константина Лордкипанидзе и «Волны стремятся к берегу» Арчила Сулакаури, далее — «Жила-была женщина» Отиа Иоселиани и ряд других произведений, посвященных нравственным проблемам.

В «Кладе» Д. Шенгелая обнажил живучие корни антиморали, которые вскармливают антиобщественные индивидуалистические инстинкты. Художник противопоставил им окружающую действительность, подчиненную принципам высокой нравственности. Подобное противопоставление должно было вызвать бескомпромиссную борьбу в душе самого героя, пусть со своим трагическим итогом, однако все же — с явной перспективой, нацеленной на высокие морально-этические принципы.

В вышеупомянутой новелле К. Лордкипанидзе нравственная проблема проявилась как бунт против антиобщественных настроений, находившихся уже в процессе формирования, как их отрицание и преодоление с позиций современного нравственного героя, противостоящего мещанскому практицизму и охваченного возвышенно-романтическими настроениями. Этот герой заново прочитал историю рыцаря из Ламанчи и почувствовал его стремление к гуманистическим идеалам, чистоту и неразвращенность души.

Концепция «Таинственного голоса» Реваза Джапаридзе также опирается на духовную чистоту и первозданную непо-

средственность личности. Неожиданно завязавшиеся и столь же внезапно трагически оборвавшиеся искренние, дружеские взаимоотношения героев повести, сопровождавшиеся сложными душевными переживаниями, способствовали той первичной закалке духа, которая должна подготовить юных героев произведения к более сложным испытаниям. «Таинственный голос» в определенном смысле оказался своеобразным подступом к более широкому и углубленному обращению писателя к морально-этической проблематике. Уже во «Вдове солдата», этом широко известном романе, этический феномен воспринимается не только как обязательная норма общественного поведения личности, но и как внутренняя потребность, как проявление органичной цельности и гармоничности души.

Арчил Сулакаури в своем рассказе «Волны стремятся к берегу» раскрыл противоречивую сущность морали и антиморали путем контрастного противопоставления добра и зла. Добро здесь предстает и действует как активное гуманистическое самопроявление чистой души. Зло же разоблачается как насилие изуродованной человеческой природы над окружающими. Наряду с этим, нравственность сама по себе порождает поразительную силу и стойкость в человеке, сражающемся во имя ее торжества, антинравственность же — этот мутный осадок на дне человеческой души — бесперспективна и обречена на поражение.

Отиа Иоселиани поднимает моральную проблему в сфере семейных отношений, пытаясь воссоздать трагедию человека с раздвоенной душой. Мака Лежава становится жертвой измены нравственным устоям, измены, которая, возможно, подготавливалась помимо ее воли и сознания. Именно эта измена собственному характеру, натуре становится источником духовной трагедии, потребовавшей от нее весьма тяжелой платы. Согласно концепции художника, измена моральным установлениям народа и личности — неискупимый грех, независимо от того, какими именно причинами она обусловлена и предопределена. Такая постановка нравственной проблемы была новой для современной грузинской прозы.

Нравственный герой в современной прозе, как уже говорилось, показан с различных точек зрения, в различных аспектах. Если в «Тутарчеле» Н. Цулейскири для наиболее полного раскрытия современной морали используется мифологический аспект, то в романе О. Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной» большие национально-социальные проблемы освещаются сквозь призму моральных факторов; если

в рассказах Р. Инанишвили по нормам самой высокой морали живут сельские жители с чистыми и неиспорченными душами, с исключительной искренностью и силой выражающие природу народной нравственности, самобытности, то герой Г. Натрошвили («Страх») побеждает своего антипода как раз в сфере социальной нравственности, а Г. Цицишвили в качестве сурового испытания и закалки человеческой души использует жестокость военных лет, показывая, что чистая любовь может вынести любые испытания, если только она озарена светом возвышенной морали («Любовь поры кровавых дождей»).

Стремление к этическому идеалу, его обнаружение и освоение, превращение в объективно - обязательную норму — сложный процесс в формировании личности. В эпоху величайших социальных перемен личность нередко оказывается перед лицом нелегкой альтернативы — что именно принять за новую нравственную норму, на какую сторону встать, в соответствии с какой моральной «догмой» жить и действовать; что защитить, а что отвергнуть и уничтожить, чему посвятить свои силы и энергию. Весь этот процесс душевного самораскрытия человека бывает весьма болезненным, он не всегда очевиден даже для него самого. Когда нравственность естественно присуща действиям и поступкам человека, она не создает больших сложностей в его взаимоотношениях с обществом. Сложности — нередко непреодолимые — обнаруживаются тогда, когда моральная норма для личности в каждом отдельном случае превращается в осознанную категорию новой истины. Концепция нравственного самопознания в романе Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа» подразумевает именно такую сложность. Дата в этом отношении предстает как весьма сложная фигура современной романистики. Для него сам пафос нравственных исканий должен стать окончательной и обязательной моральной нормой. Нравственные поиски и обретение морального постулата — тот единый и определяющий процесс, постоянно волнующий человека, неизменно вносящий поправки и исправления в моральные догмы и нормы в соответствии с запросами конкретной эпохи и конкретного состояния духа человека.

Несколько позднее, уже в середине 70-х годов, морально-этическая проблематика переносится в исторический аспект и в каком-то смысле по-новому осмысливается в романах Г. Абашидзе. Подвиг Цотне Дадiani в историческом полете этого писателя был представлен как несравненный фе-

номен, как жесточайшее испытание высокой морали народного духа. Именно подобная нравственная акция должна была спровоцировать духовное возрождение нации, в результате которого нация смогла найти в себе силы и энергию для решительного изменения своей исторической судьбы.

Так морально-этическая тематика в современной грузинской литературе оказалась выдвинутой на передний план, так превратилась она в одну из наиболее актуальных проблем сегодняшней нашей прозы.

В свое время угол зрения, избранный Нодаром Думбадзе для показа нравственного испытания и духовной закалки своего героя, был несбычным для грузинской литературы. Если он более или менее «испытан» в современном западном искусстве, то для нашего читателя, наоборот, был совершенно нов.

Однако главное в этой параллели не только в замысле, но и в художественном решении проблемы.

В достаточно шумевшем в свое время итало-французском кинофильме «В плену мафии», имевшем в своей основе реальные события, так же как и в других итальянских неореалистических фильмах подобного плана, борьба человека против антиморали или хотя бы даже попытка остаться в границах нравственных устоев, как правило, оканчивается жестокой катастрофой этой общей идеи и личной катастрофой героя. Окружение, в котором оказывается человек, не только в высшей мере сложно и противоречиво, но и непреодолимо! В этих условиях реализация высоких норм личной порядочности становится невозможной так же, как невозможно и самоутверждение личности, опирающейся на принципы этой порядочности. Наоборот, в романе итальянского писателя Л. Питтони «За дверьми тюрьмы», положенного в основу знаменитого кинофильма Д. Дамиани «Забудьте, следствие окончено!», воссоздана история нравственного падения человека: герой романа архитектор Джованни Ванци, человек честный и чистый, попадает в тюрьму, где в обстановке полного разгула преступности он случайно оказывается невольным свидетелем зверского убийства и, следовательно, косвенным его соучастником. И когда его, как арестованного по ошибке, выпускают на волю, он возвращается в общество уже отягчённым тяжелым грузом антиморали. Так тюрьма превращает невинного человека в преступника, морального — в аморального, честного — в обманщика, смелого — в труса. Происходит курьез: он попадает в тюрьму невинным, а

покидает ее — виноватым. Социальная основа этого трагического курьеза в фильме раскрывается как тяжелейший крах современной буржуазной морали.

Герой «Белых флагов» Н. Думбадзе — Заза Накашидзе по воле слепого случая оказывается в окружении людей, преступивших рамки закона и нравственности, среди убийц, рецидивистов, взяточников, воров, как один святой среди десятка грешников. Ни одной более или менее светлой личности вокруг! Чем грозит ему подобное окружение? Подчинится ли он, подобно Джованни Ванци, законам и правам антиморали, тем более, что поначалу ему не светит даже слабый луч надежды на то, что удастся доказать свою правоту и выйти на свободу?

Перед нами — чрезвычайно осложненная ситуация, возможно даже искусственно осложненная для того, чтобы более значительным и впечатляющим оказался впоследствии «коэффициент» проявления высокой морали, более суровым и строгим было испытание души и более красноречивой и убедительной — ее победа над испытанием.

Так или иначе Зазе Накашидзе надо выстоять, но не просто выстоять — он должен действовать, взвесить на весах своей нравственной веры тяжесть преступлений и морального падения каждого из тех, с кем столкнула его судьба, и не просто взвесить — вынести свой суд.

Таков единый и цельный процесс нравственной динамики, движущим импульсом которой стала чистота и душевная сила личности, несущей в себе ее устои и принципы.

Однако в предложенных читателю условиях и обстоятельствах это не только не представляется достаточным, но содержит в себе возможную опасность воздействия и подавления извне. Поэтому в высшей степени примечательна кульминационная точка этой динамики: виновный «по видимости», однако объективно чистейший и честнейший человек сам должен вынести приговор обступившим его со всех сторон представителям мира антиморали.

Этот величайший моральный счет воспринимается как прямая и непосредственная духовно-нравственная коллизия, объективное впечатление, создавшееся в итоге сложных перипетий.

Окружение молодого героя романа, как мы уже говорили, нарочито усложнено и отягощено; каждый из тех, кто сидит в одной камере с Зазой Накашидзе, несет в себе определенный грех и преступление.

Тяжесть прегрешений не в равной степени осмыслена каждым из них, и не только в силу инстинкта самозащиты, но и, что гораздо важнее, в силу духовной нищеты и ограниченности. Поэтому острые духовные переживания, муки совести чужды и незнакомы им.

Но и в пределах этой прямолинейной и одноплановой ситуации все же обнаруживаются дифференцированные по своей духовной «организации» личности, которые когда-то были в состоянии мечтать об иной будущности и перспективе. Рядом с окончательно опустившимися на дно Тиграном Гуляном, Шошиа Гоголадзе, Чичико Гоголем, Мошиашвили, Мебуришвили, Гамцелидзе выведен человек романтической души «Лимона» — Девдариани, который время от времени может испытывать высокое вдохновение, и тогда мы видим как бы другого человека. В такие моменты он произносит гимны во славу возвышенной любви и в своих собственных мечтах и восприятии оказывается в совершенно иной, чем в реальности, плоскости. Или Исидор, человек типа горьковского Луки, со своей «мудростью», который сам не так давно самолично вынес приговор, покарвав подонка и нравственного перерожденца, за что сурово осуждает себя. И хотя их самоочищение, полный катарсис так и не осуществляется в действительности, поскольку кровь и грязь тяжелейшим осадком оседают на дне человеческой души, эти персонажи столь трагических судеб, возможно, даже помимо своей воли, все же сумели внести в мир тьмы, воссозданный в романе, хоть слабый луч света.

Этот луч света Исидоре оставляет Зазе в виде своего завещания — добиться правды и знаменем торжества с самой высокой вершины протянуть ее солнцу. Это доброе, однако импульсивно-декларативное желание человека, преступившего закон, только тогда может материализоваться, когда сознание молодого героя со всей полнотой и противоречивостью постигнет суровый и неотвратимый, но закономерный ход реальной действительности.

Незапятнанная мораль молодого героя произведения даже в минуты тяжелейших испытаний не уступает своих позиций и не только сохраняет поразительную стойкость, но и предстает духовным фактором, способным возродить человека к жизни.

Нравственность торжествует победу даже в окружении безнравственности, если только она не теряет свои высокие принципы, свою чистую и гуманистическую природу.

Возможно, в «Белых флагах» есть спорные места, однако главное то, что это произведение утверждает высокую мораль и нравственность, являющиеся силой, способной защитить и возвысить душу человека, сделать ее могучей и непобедимой даже в самых тяжелых и сложных ситуациях.

Проблема нравственности, личной порядочности, моральной ответственности находится и в центре романов Гурама Панджикидзе.

Нравственный аспект с наибольшей силой и ясностью проявляется в его романе «Камень чистой воды», в котором нравственный герой противопоставляется силам антиморали.

Это противопоставление осуществляется в оригинальном плане, душевная чистота и неиспорченность сами по себе являются бесценным даром для личности, но они обретают неизмеримо большую общественную значимость, когда проявляются активно и действенно.

Именно поэтому писатель счел необходимым поставить рядом две нравственно цельные личности — Тамаза Яшвили и Отара Нижарадзе. Оба они отличаются от окружающих прежде всего тем, что сохранили чистое сердце и незапятнанную совесть. Они не похожи на Нико Какабадзе, на Давида Тавишвили, на Мирона Алавидзе, на Омара Мелкадзе, на Ясе Дидидзе, и уж, конечно, на тех разжиревших на ворованном, награбленном добре дельцов-циников, один из которых, войдя в пьяный раж, приказывает подать зажаренный человеческий мизинец, а уж он-то за ценой не постоит, другой же — Анзор Хеладзе — бесстыдно пытается подкупить Нижарадзе, чтобы скрыть свое преступление и приписать его другому... Оба героя противостоят всему этому миру своей духовно-нравственной и гражданской позицией. Однако именно в этом противопоставлении и обнажаются два плана этой одной позиции.

Один — это осознание антиморали как явления неприемлемого и чуждого, декларирование невозможности и недопустимости любого контакта с ее представителями и сохранение своей нравственной позиции.

Другой же — проявление всех перечисленных выше качеств в сочетании с бескомпромиссно-наступательным действием, с целенаправленной борьбой и с достигнутым в результате этой борьбы позитивным итогом.

Пассивный характер первого плана исключает тем самым нравственный резонанс, активная же природа второго

делает ее положительным явлением широкого общественного масштаба.

Таким образом, этическая позиция Отара Нижарадзе противопоставляется в романе как опасным антиобщественным тенденциям, так и, в определенном смысле, пассивному характеру нравственной позиции Тамаза Яшвили.

По существу своему это весьма примечательная концепция, поскольку морально-нравственный катарсис определенного общественного слоя требует именно активного, наступательного этического пафоса и подчиняется его внутренним закономерностям. Нельзя замыкаться исключительно в рамках своей личной порядочности, в то время как силы антиморали проявляют исключительную агрессивность и втягивают в свою орбиту все новых и новых людей с непрочными нравственными устоями. В такое время отстранение равносильно отступлению, сдаче позиций, капитуляции.

Отар Нижарадзе, как уже было сказано, предстает героем с цельным, стойким характером. Однако личность он сложная, внутренние нравственные качества его неоднозначны. Эта сложность, возможно, кое-кем может быть воспринята даже как духовная противоречивость. Но следует учитывать, что борьба с антиморалью нередко требует столь же жестких мер, оправданных, однако, высокой общественно-значимой целью, во имя которой они принимаются, целью всеобщего блага и добра. Отар Нижарадзе прекрасно знает, как ему следует обращаться с подонками, обнаглевшими от сознания собственной безнаказанности, духовно опустошенными, уверовавшими во всемогущество денег и силы, готовыми попать законы человеческие и общественные, ни во что не ставящими ни чистое чувство любви, ни чувство человеческого достоинства. Поэтому столь суров и неприступен он, скажем, во время разговора с переродившимся духовно профессором Нико Какабадзе: «Вы бессовестно выгнали с работы Тамаза Яшвили только за то, что он сказал правду. Только за то, что он порядочный человек и не сразу разобрался в ваших грязных интригах.. Если бы у вас были чистые руки, вы бы подняли крик на весь мир, пожаловались бы на меня в милицию. Думаю, вы убедитесь в одном — когда враг так прямо наступает на вас, значит ему известно, куда надо бить, вам же хочется спокойной жизни, скандал и шума вовсе не в ваших интересах..»

Нравственный герой сознает, что в жестоком столкновении с представителем антиморали его принципы могут

одержать победу только благодаря прямоте и бескомпромиссности, иначе им не суждено реализоваться на практике.

Роман Г. Панджикидзе был написан в то время, когда в нашей действительности кое-где имели место антиобщественные явления, впоследствии принявшие характер широко распространенной опасной тенденции. В разоблачении этого чужеродного и неприемлемого для нашего общества явления сказала свое слово и грузинская проза. «Камень чистой воды» стал одним из значительнейших художественных фактов в этом ряду. В произведениях такого типа, как в зеркале, отразились опасные тенденции морально-этических отклонений от нормы, недопустимость их распространения в более широких масштабах. Эта точка зрения нашла воплощение в активном отрицании всего, что мы зовем антиморалью.

Борьба против антиморали является суровым испытанием для человека, и поэтому она, прежде всего, под силу только таким нравственно цельным и стойким характерам, каким предстает, к примеру, Шавлего — герой романа Ладос Мрелашвили «Кабахи».

Концепция этого произведения интересна и тем, что процесс морально-этического формирования героя показан в нем как итог, результат его жизни, богатой социально-политическими событиями, исполненной общественно-психологических страстей, как сложное духовное явление, связанное с поведением человека в быту.

В «Кабахи» друг другу противостоят две морали, зародившиеся в недрах одной действительности, выросшие из одного и того же корня. Носителем одной является Нико Баляшвили — человек старой закалки, его мораль не выдержала под ударами жизненных противоречий и дала трещину; носителем другой — Шавлего Шамрелашвили, человек нового времени, чистой души и сильной воли. Этот интересно задуманный общественно-личный конфликт раскрывается перед читателями не просто в контрастной манере, но с проникновением в глубины сознания и морали двух людей, чья психология имеет одни и те же корни. И Нико, и Шавлего — люди сильной воли и твердого характера, нравственность для них — не щит или маска, а первейший закон и обязательная норма жизни, однако контраст проявляется в понимании сути этой нравственности: то, что для одного нравственно, для другого оказывается аморальным.

Пример Нико доказывает, насколько опасны отклонения от нормы морали, допускаемые человеком сильной воли

сознательно или бессознательно. Его породила на свет новая действительность как силу, от которой она ждет защиты и поддержки, и в качестве главного оружия дала ему новую мораль. Поначалу Нико был совсем другим человеком — цельным, прямым, нестигаемым. Именно такие люди, как он, строили новую жизнь на обновленной земле, утверждали новую мораль, новые формы социальных и нравственных взаимоотношений.

Постепенно преодолевая жизненные высоты, он вышел в руководители, однако процесс этого «восхождения» и «вышшения» сопровождается опасностью отрыва от земли вообще, утраты почвы под ногами. Эта опасность несет особую угрозу для человека сильного характера, который сам утверждал новые морально-этические нормы для окружающих его людей и потому не склонен прислушиваться к предостерегающему голосу, неспособен к самоконтролю.

Сильная воля такого человека постепенно противопоставляет его массам, человеческому достоинству и высоким принципам вообще. Это проявляется поначалу в противостоянии Ревазу, носителю чистой общественно-нравственной позиции, затем в целом ряде мелких уступок антиморали, оседающих в его душе тяжелым осадком, и в конце концов — в остром социальном конфликте с деревенской молодежью и ее вожаком Шавлего.

Пример же самого Шавлего демонстрирует прогрессивный и закономерный характер процесса морально-этической активизации личности. И, что самое главное, в нем реализованы высокие духовные принципы новой морали, как закономерность и примета нашей общественной жизни.

Рано или поздно Шавлего должен вступить в конфликт с Нико, и это — конфликт не только одной морали с другой, одной этической позиции с другой, но и конфликт одной сильной воли, сильного характера — с другим. И в этом конфликте он должен взять верх.

Шавлего представляет собой ту нравственную силу, которая должна превратить в действенный фактор чистоту и справедливость народной души. Ему надлежит активизировать ставшие инертными и пассивными морально-этические нормы. Шавлего должен претворить в неодолимо развивающуюся тенденцию волю масс, порой находящуюся в дремотном состоянии, а порой действуюю и целенаправленную, однако не до конца осознавшую себя реальной силой.

Для этого ему необходимо вступить в борьбу с мощ-



ными силами несправедливости, с духовной инертностью и пассивностью, с узким практицизмом мещан, неразборчивостью в средствах карьеристов, нежеланием консерваторов сделать шаг навстречу новому.

С этой целью он должен возглавить поход за освоение неиспользованных земель, стать инициатором культурного обновления села, помочь Сабедо восстановить разрушенный градом дом.

С этой целью ему необходимо преодолеть робость перед авторитетом Нико, смело вступить в спор с влиятельными районными руководителями и обнаглевшими от шальных денег и связей подонками, вроде Кучрати, объединить и возглавить, побудить к активным действиям деревенскую молодежь, отказаться от городского комфорта и соблазнительной карьеры и, вернувшись к очагу своих предков, по собственной воле взвалить на свои плечи тяжелейшую ношу вожака современной сельской молодежи.

Такова сложная миссия, которую ему надлежит выполнить во имя высокой морали и нравственности.

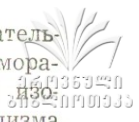
Разумеется, в подобной интерпретации роли и назначения героя с сильной волей и высокой моралью, какая предложена нам автором «Кабахи», кое-что может показаться спорным, кое-что — недостаточно мотивированным, даже маловероятным (сильная воля здесь зачастую реализуется не как логический результат сознательных и осознанных действий, не как обусловленная необходимостью норма действий, а как воплощение грубой силы, субъективных, стихийных личных решений и поступков; пафос апологии героя с сильной волей и характером в определенной мере оставляет в тени активность самих масс, а также ведущую, организующую роль и значение этих масс в нашем обществе). Однако сама попытка создания подобного героя, сама тенденция, воплощенная в произведении, представляется в высшей степени примечательной: морально-этическая позиция современного человека в романе представлена как актуальнейшая проблема нашей действительности, утверждение в жизни высоких нравственных норм — как неизбежный крах и поражение всех проявлений антиморали, вылившейся в сложное общественно-социальное явление.

Наглядным и красноречивым доказательством того, что морально-этическая проблематика представляет собой в высшей степени многоплановое и многостороннее проявление художественного осмысления действительности, является и

столь примечательное явление современной грузинской прозы, как романы и повести Гурама Гегешидзе. В них сконцентрирован богатый материал общественного бытия и фактической жизни, дана успешная, по большей части, попытка оригинальной интерпретации множества актуальных национальных и социальных, духовных и этических проблем современности.

В «Грешнике» и «Гонимом» морально-этическая проблематика раскрывается писателем в стиле так называемого «потока сознания», что же касается более позднего романа «Гость», то эта тема нашла в нем более конкретно-реалистическое воплощение. Здесь противопоставление морали и антиморали происходит в более широком плане, на фоне столкновения нравственной фальши и истинной морали и других подобных контрастов, проблема духовных исканий и духовного самоочищения героя предстает как этическая необходимость. Характер главного героя романа — молодого человека наших дней — формируется в условиях односторонних и, по существу, аморальных семейных и общественных обстоятельств. Однако формируется не как их наследник и продолжатель, а как противостоящая им сила. Окружение отразилось в его сознании одновременно как знакомый мир (осознанное бытие) и как неведомая вселенная (противоестественное состояние) и воспринимается в виде цельного комплекса. В этой жизни у него есть прочные устои, светлые моменты, служащие опорой и компасом на жизненном пути, однако этот путь духовного очищения он должен открыть и пройти самостоятельно. Правда, мораль Важа, Кахи, Цотне и Элизбара воспринимается им как образец высшей нравственности, это своего рода преграда, мешающая распространению безбрежного национального нигилизма, воплощенного в образе Илико, душевной грубости и бесстыдства Гиви, аморальности и нравственной распущенности Рудика, Дато, Шота, проявляющейся в различных формах. Однако высоконравственные духовные принципы героя осуществляются в виде конкретной, утвердившейся в жизни категории действий и убеждений, которые он выработал для себя самостоятельно.

«Гость» — не только размышления художника о судьбе и месте индивидуума в современном мире, но и прежде всего протест против фальшивого и противоестественного положения личности в обществе; бунт как против конкретных проявлений безнравственности и аморальности, так и против



порождающих их факторов, против показной доброжелательности, за которой скрывается глубочайшая бездна антиморали; осуждение высокомерных барски-мещанских попыток изолироваться от народа, апологии беспредельного практицизма и слепого фанатизма.

Этот обличительный пафос в своей безжалостно обнаженной тенденции бескомпромиссен. Однако в то же самое время он возвышен и чист в юношеской прямоте и осознанной ответственности человека за всю свою жизнь: «Существует незримая духовная связь между нами, нашими предками и нашими далекими потомками, ибо на земле, по которой мы сейчас ступаем, когда-то ходили и действовали наши пращуры... И будут ходить потомки наши... Какими они будут, какой будет их жизнь, в определенном смысле зависит от нашего сегодняшнего бытия, поскольку цель сама в себе содержит и условия ее осуществления... На каждого человека возложена величайшая ответственность перед всем человечеством, так как нынешний его поступок получит отголосок в отдаленнейшем будущем. Тот, кто ощущает эту ответственность, каким бы маленьким и незначительным ни казался он на нашей общественной арене, будь он позабыт и презираем всеми, все же является достойным среди достойных, а тот, кто думает: после меня пусть хоть камня на камне не останется, — разумеется, с большим трудом может быть назван человеком, в силу того хотя бы, что истинная человечность представляет собой не что иное, как преодоление животного начала в человеческой природе».

Таковы мысли и убеждения главного героя романа Тархужа Гурамишвили, они приведут его в сельскую школу, там он исполнит свой великий долг перед будущим, который так мучает его сознание.

Антиурбанизм, поиски «деревенской непорочности», возвращение человека в лоно природы не являются, разумеется, панацеей от безнравственности и антиморали. Аморальность всегда существовала рядом с высокой нравственностью как ее антипод, и именно в борьбе с ней она должна потерпеть окончательное поражение. Моральные категории формируются непосредственно в процессе жизни как результат активизации позитивных сил общества.

В концепции Г. Гегешидзе есть еще один нюанс, который также вызывает серьезные возражения. Речь идет о проблеме веры.

В «Госте» довольно глухо, мимоходом, порой просто на-

меком проглядывает проблема христианской веры как фактора нравственного очищения человека (в последнее время эта проблема возникает все чаще и не только в грузинской литературе). Нельзя считать случайностью и то, что в романе постоянно повторяется идея возвращения к природе, слияния с нею, очищения с ее помощью. Не является ли это своеобразной интерпретацией той христианской догмы, согласно которой полное очищение от грехов возможно и достижимо лишь непосредственно в лоне природы (ведь христианские храмы, монастыри, как правило, возводились в местах, максимально приближенных к природе, где грешник имел возможность остаться лицом к лицу с непорочной природой и слиться с ней).

Эта концепция наносит серьезный ущерб написанному с искренней нравственной болью роману Г. Гегешидзе — многовековая история христианской морали наглядно продемонстрировала ее бессилие и крах. Наше время является эпохой действий активных сил, или, говоря словами героя одного современного романа, «Иисус Христос своей проповедью бездействия — это давно известно — разрушает, подавляет энергию человека». Душевный союз и единство людей благородной, чистой, пронизанной человеколюбием нравственности, которые с таким вдохновением проповедует герой «Гостя», могут быть достигнуты и утверждены лишь в результате их собственной активной деятельности.

Антимораль в нашей общественной жизни проявляется во многих различных формах. Особенно заметной становится она, когда безнравственность отдельного человека получает общественно опасные масштабы, когда опасные тенденции антиморали проникают в быт и чуть ли не в виде утвердившейся нормы.

Среди подобных явлений в первую очередь следует назвать современное мещанство. Его характер весьма сложен и разнообразен, так как прежде всего оно оказалось весьма жизнеспособным и, во-вторых, далеко не всегда проявляется открыто, демонстрируя способность маскироваться.

Эти качества мещанства определяют его бытийную функцию, корни его достаточно прочны и выкорчевать их полностью оказывается далеко не просто. К тому же мещанство способно к превращениям во все новые и новые качества, к приспособлению к изменяющимся условиям времени и быта.

Мещанство довольно легко обнаруживает лазейки для



проникновения в человеческие души. Малейшая трещина в нравственных устоях используется мещанством для укрепления своих позиций, со скоростью опасной эпидемии оно охватывает определенные слои общества.

Любая маска с легкостью используется мещанством для прикрытия своей сути, оно одинаково успешно прикрывается человеколюбием или патриотизмом, требованием защиты традиций или прав личности и т. д.

Сфера человеческого бытия, как известно, весьма сложна и многообразна. Стремление к лучшему устройству личной жизни, характерное для человека, которое в абсолютном своем проявлении может стать для него идеалом, нередко обесценивает светлые и чистые духовные ценности, преодолевает этико-моральные барьеры, и столь лелеемый ими внутренний мир зачастую оказывается подчиненным нормам анти-морали.

Так начинается перерождение и падение личности, распад человеческой морали.

Зачастую мещанство порождает раздвоение личности, поскольку то, что является неприемлемым с точки зрения морали человека общественного, должно быть скрыто, замаскировано, нормы морали внешние как бы соблюдаются. Возникает духовный вакуум, происходит нравственное падение личности; так рождается раздвоенность ее моральной позиции, точнее говоря, антимораль становится нормой поведения.

Как известно, мещанство породили, говоря словами Максима Горького, частнособственнические инстинкты, но постепенно оно проникало и в иные сферы духовного и материального бытия человека.

Вместе с тем оно предстает перед нами как тенденция эгоизма, изолированности, аполитичности, стремления к мелкобуржуазному собственничеству, возрождения вредных тенденций прошлого, увлечения салонными сенсациями и провинциальными сплетнями, индивидуализма и безвкусицы, фетишизации вещей, духовного раздвоения личности.

Мещанские тенденции в нашей национальной действительности особенно ярко проявились в шестидесятые и начале семидесятых годов. В свою очередь, они породили другие уродливые явления, которые так принципиально и строго осудили наши партия и общественность. Практика этих лет характеризуется паразитально стойким и упорным наступлением ме-

щанства, его стремлением к распространению в новые сферы.

Мещанин жаждет утвердить свою философию «моральные» нормы в нашей повседневной жизни.

Модным лозунгом, которым он маскирует свое истинное лицо, является «Живи и дай жить другому».

Его девиз: «Накопить, обогатиться, потом ведь все это тому же народу и достанется».

Его практика для нашей социальной формации (как и для любой формации вообще) является парадоксальной: на базе общественных производственных средств создать личное богатство. Мещанин проявляет животную жадность и ненасытность, причем — за государственный счет.

Обычная форма его жизнедеятельности: бесстыдно поучать других, требовать, чтобы они следовали высоким нормам морали и нравственности, тогда как сам мещанин не имеет с ними ничего общего.

Обычное дело для него — безграничная фетишизация вещей и денег, фарисейство, лицемерие и чванливость — все, что объединяется под общим понятием антиморали.

Его практические дела и проявления: рестораны и кафе, вырастающие, словно грибы, вдоль наших магистралей, а не, скажем, археологические раскопки до сих пор погребенных под землю развалин Тмокви, которые могут пролить свет на многие неразрешенные и спорные проблемы нашей славной истории.

Его практика — националистические и шовинистические выпады.

Его привычки — самореклама и переходящие любые границы юбилейные чествования, организованные им самим.

Атмосфера современных салонов — необходимая для его душонки среда обитания.

Так разнолик и многообразен современный мещанин, и, естественно, обличительный пафос нашей литературы в значительной степени направлен на то, чтобы целиком и полностью обнажить его истинное нутро.

Круг проблем, составляющих внутреннюю сферу напряженных интересов «Бассейна» Тамаза Чиладзе, разумеется, не ограничивается исключительно пафосом разоблачения социальной сущности и антиобщественного характера мещанства; в этом произведении ставятся многие острые проблемы духовной жизни нашего общества. Но все же в первую очередь оно относится к ряду тех образцов грузинской прозы,

в которых обнажается нутро современного мещанства, еще один его аспект.

«Бассейн» — это, прежде всего, бунт против пустившего глубокие корни в быту, враждебного чистым человеческим чувствам и устремлениям мещанского эгоизма, провинциальной ограниченности и замкнутости. Болото мещанства здесь представлено в виде общественно распространенной безнравственности, повлекшей перерождение человека.

Не случайно роман начинается картиной своего рода «молодежного бунта», в котором выразился решительный протест против антиморали, против всего того, что Карл Маркс называл полным господством мертвой материи над человеком.

Вместе с тем господство мертвой материи — более широкое понятие, чем рабское преклонение перед предметами и вещами, духовное перерождение, поскольку, как проявление антиморали и безнравственности, оно превратилось уже в материальную силу и получило определенную функцию воздействия на общество и человека как материальная категория.

По нашему мнению, именно таково отношение автора романа к проблеме мещанства, которое является причиной отчуждения человека, раздвоения его личности, подавления лучших душевных черт.

Владелец бассейна и его подчиненный — Бондо Спиноза — это явления одного порядка, одной и той же тенденции.

Первый из них предстает человеком, замкнувшимся в самом себе, которого ни одна «живая» ниточка не связывает с обществом. Поэтому для окружающих он выглядит как человек, мечтающий о звездах. Все его помыслы сконцентрированы на бассейне, — как своего рода метафорической квинтэссенции, — на непроточной, покрывшейся тинной масе воды «неприятно зеленоватого цвета», представляющей символическим воплощением затхлости мещанства.

Второй же выступает как сила, охраняющая и защищающая первого, утверждающая антимораль в реальности. Первый не мог бы существовать без рабской преданности второго, который становится его неперенным спутником и наперсником и помимо своего желания и воли, в силу объективного закона познания должен обнажить порок, скрывающийся под маской показного спокойствия и порядочности.

Тенденция изоляции человека, его отхода от магистральной большой жизни естественно порождает противоположные

настроения и ситуации — сначала в неиспорченной детской психологии зарождается вполне объяснимое желание проникнуть в этот огороженный, изолированный мир, а затем — в сознании «взбунтовавшихся» молодых людей утверждается мысль о неизбежности его разрушения.

Разрушение бассейна, заполнение его землей — не просто акт протеста, в романе оно исполнено большого, глубокого символического смысла: это заполнение духовного вакуума, душевной пустоты.

Окружающая действительность, в которой торжествует провинциальное мещанство, сковывает душу человека. Вся ситуация, связанная с семейными отношениями Александра и Нателы Сордия, ухоженные и прибранные, однако безмолвные, онемевшие комнаты и обстановка их дома создают уже как бы второй план проявления мещанства. Это, можно сказать, бытовое мещанство, прикрывающееся ширмой показного семейного мира и благоденствия.

Именно этот мещанский мирок и должен был породить духовную трагедию находящегося на противоположном полюсе юного Беко, душа которого накрепко заперта даже для собственных родителей.

Линия Беко имеет свою параллель, которая представлена действиями Зины. Можно сказать, что Зина — второй, более яркий луч света, проникший в темень мещанского мира. Для нее гораздо более очевидна вся разрушительная, развращающая порочность мещанства. Оставшись в одиночестве, невестка известного врача Нико Гегечкори всем своим нутром, тайно или явно протестует и противостоит личным несчастьям, которые принесла ей мещанская антимораль. Хотя способ этого «преодоления» антиморали представляется не столь уж перспективным, поскольку трезвый самоанализ, с самого начала зревший в сознании героини, так и не получил своего естественного развития и завершения, не осмыслен ею как высоко нравственное счастье, достигнутое собственными усилиями.

Миру мещанства противостоит и герой романа Гурама Панджикидзе «Седьмое небо» Леван Хидашели. Это противостояние в романе носит многоплановый и внутренне сложный характер. С одной стороны, герой романа родствен образцу Чешкова из «Человека со стороны» И. Дворецкого (сильная воля, принципиальность, характер, сформированный современной эпохой научно-технической революции), с другой же — Лагутину из «Сталеваров» Г. Бокарева (внутрен-

няя душевная правдивость, прямодушные, глубокое знание производственных процессов), хотя, разумеется, подобная родственная близость весьма условна, поскольку Хидашели является порождением более сложных жизненных ситуаций, личностью с менее цельным характером.

Он не принадлежит к числу замаскированных карьеристов, поскольку по своей сути противостоит мещанству в семье, быту, на производстве и в личной жизни, разрушает его устои. Герой подобного типа вообще несет большую моральную нагрузку. Однако его трагедия предопределена его же собственным неустойчивым характером. Окружающая среда, человеческие слабости и пороки в конце концов (возможно, даже против его собственной воли!) разрушают цельный некогда характер волевого человека.

Правда, этот процесс не имеет ничего общего с мещанским перерождением человеческой души, однако в финале романа (а возможно, и в конце самой жизни героя) он оказывается уже в иной нравственно-этической плоскости и в монолите его характера появляется роковая трещина. Свойственный ему пафос отрицания мещанства и утверждения душевной чистоты постепенно перерождается в свою противоположность — в социальный эгоизм, индивидуализм, поскольку индивидуальный дух личности в значительной степени уже оказывается лишенным первейших принципов вдохновения и движущих импульсов, направленных на благо общества.

Так рождается раздвоенная и противоречивая позиция. А это само по себе уже является тяжелейшей душевной трагедией, которая не может не привести к естественному и неизбежному концу.

Расколотаая трещиной антиморали нравственная позиция, подобно позиции Левана Хидашели, порой оправдывается так называемой концепцией «реального человека»: люди, мол, в себе содержат противоречивые начала, обнаруживающиеся при любом удобном случае, таков, мол, человек, и его следует принимать таким, каков он есть.

Эта концепция, противостоящая хорошо нам известной теории о человеке «без сучка и задоринки», о приукрашенном идеальном герое, возможно, явилась своего рода реакцией на последнюю. В художественной практике она, в определенном смысле, возможно, и имеет оправдание, как один из аспектов раскрытия диалектики души. Однако в тех случаях, когда дело касается морально-этической сферы, она явно непригодна. Раздвоенность этической позиции, о которой шла речь выше,

является результатом измены нравственным нормам, а измена нравственным нормам уже сама по себе означает отступление от прочных моральных позиций. Моральный, нравственный герой — это наш современник, человек чистой души и высокой принципиальности, или, если воспользоваться удачным выражением одного нашего критика, это «хороший, добрый, справедливый, душевный человек плюс гражданин».

Суть мещанства в нашей литературе порой трактуется односторонне; его художественное осмысление происходит исключительно в материальной сфере и выглядит как преклонение перед личным материальным благосостоянием, в жертву которому приносятся интересы общества.

В подобных случаях духовная деградация воспринимается только лишь как господство мертвой, бездушной вещи над человеком или как полное порабощение его дикими инстинктами приобретательства и накопительства.


Разумеется, и это — мещанство. Вспомним, что именно так и начался процесс, о котором мы уже говорили и который распространился и на иные сферы человеческого бытия, проник в жизненно важные клетки духовной жизни.

Поэтому это явление следует осмысливать в широком аспекте, в единстве с другими фактами и явлениями, так сказать — в комплексе. Тем самым с большей наглядностью можно будет обнажить его опасные тенденции и масштабы, разоблачить социально-политическую опасность.

Художник, конечно, вправе в своем произведении выдвигать на первый план ту или иную проблему, углубляться в нее, делать ее предметом широкого художественного обобщения. Но в таком случае это должно быть сделано с таким художественным мастерством и на таком идейно-художественном уровне, чтобы у читателя не возникало сомнения в антиобщественной сущности данной тенденции в целом.

Каждый, кто внимательно прочитал роман Александра Каландадзе «Зеленая ветка» и объективно воспринял его основную идею, не мог не обратить внимания на концепцию открытого разоблачения опасных тенденций широкого распространения и немалых масштабов распространения современного мещанства. Мещанство воспринимается писателем как социальное явление, весьма широкоплановое и разнообразное.

Духовный застой и отсталость, карьеризм и подхалимство, безволие и лицемерие, фетишизация вещей и стремление к видимому благополучию, ограниченность, обывательщина и провинциализм — вот те проявления мещанства, каким оно



представлено в романе (столь масштабное восприятие мещанства как социального явления отнюдь не означает, что общественно опасное явление имеет некое доминантно-тотальное значение; перечисленные здесь пороки наряду с протекционизмом, взяточничеством, распространением отживших и устаревших традиций и прочими подобными явлениями, которые в тех или иных определенных ситуациях выступают как самостоятельные проявления аморальности, взаимно дополняя и поддерживая друг друга, подчиняют души и сердца героев «Зеленой ветки» общей тенденции — мещанству). В романе А. Каландадзе все эти силы ограничивают, сковывают человека, противодействуют ему, его высокой морали и высокому назначению.

Главный герой «Зеленой ветки» Мамука Тарсанидзе по своим морально-этическим убеждениям и нравственной позиции прежде всего противостоит определенным общественным кругам. Сложный жизненный путь, пройденный им, — это не менее сложный процесс последовательного формирования его убеждений.

Тяжелые и суровые испытания военных лет. Плен. Побег из плена. Партизанский отряд. Ловкая маскировка под нациста. Штурм Берлина... а затем суровые дни и месяцы, которые ему пришлось провести на Севере и на Востоке. Возвращение. Подозрительность окружающих, постоянные допросы.

В этих грозных испытаниях выковывается характер и нравственное кредо Мамуки Тарсанидзе.

Но все это уже позади; он сумел «устроиться» в мастерскую научно-экспериментального планирования. Однако трудности и испытания продолжают преследовать его и в родном городе. Его по-прежнему подстерегают препятствия и барьеры, преодолеть которые столь же нелегко. Прошедший большую жизненную школу герой оказывается перед необходимостью выдержать новое, более сложное нравственное испытание. Как видно, вся пережитая им до сего времени жизнь была своего рода подготовительным периодом для этого сурового экзамена.

Обстановка, в которой оказывается герой, весьма противоречива. Царящая вокруг него атмосфера мещанства, духовного перерождения — это та преграда, которую так трудно преодолеть. Однако в самой этой атмосфере есть силы, на которые может опереться герой. Благодаря их моральной поддержке положительный герой может вступить в борьбу с целой группой влиятельных и могущественных мещан, с их без-

нравственностью и наглостью, животным эгоизмом, обывательским «практицизмом», провинциальной салонностью, ханжеством и лицемерием, с мелкобуржуазной семейственностью и иными проявлениями многоликого мещанства.

Достаточно широкий фронт, не так ли?

Нести подобный груз отнюдь не легко, и, возможно, именно в результате этого отдельные пассажи романа кажутся нам в какой-то степени незавершенными. Однако главное все же в том, что герой романа, выражающий прогрессивную тенденцию общественного развития, усиление и активизацию этой тенденции, в финале тяжелой борьбы предстает моральным победителем.

Цена подобной победы тем более велика, чем сложнее и труднее путь к ней, чем большего напряжения психологических и нравственных сил, воли, душевных жертв она потребовала.

Жизненная правда Мамуки Тарсанидзе зиждется на стойкости и твердости его характера. Для него чужда характерная для некоторых героев подобного плана психологическая прямолинейность, патетическая приподнятость или же позерство.

Он прежде всего человек обостренного психологически-социального долга; общественного блага, по его мысли, невозможно достичь ни ценой примиренчества, ни уступками; путь, которым он идет, нелегкий и непарадный.

Такова тяжелая победа нравственности над антиморалью. И чем более дорогой ценой досталась она, тем больше от нее пользы, поскольку она выходит из этой борьбы более закаленной и испытанной, проверенной и надежной, нацеленной в перспективу, в будущее.

Таков один из планов утверждаемой романом истины — крах антиморали и безнравственности, пытавшихся укорениться в обществе.

Однако борьба с антиморалью имеет здесь и второй, не менее значительный аспект. Это второй план романа, и его осмысление перенесено в сферу семейных взаимоотношений. Сущность мещанства здесь проявляется с еще большей остротой.

Семья Доротэ Гобронидзе представляется типичной в этом отношении. Для нее характерны все признаки так называемого современного семейного мещанства: слившиеся воедино духовное обнищание и развязность, безволие и хвастовство, определенные нормы, ставшие обычными для обы-



вательского быта, и неограниченное господство грубых инстинктов, ограниченность души и фетишизация отринутых жизнью старых традиций, торгашеская психология личностей, благоденствия и стремление всячески унижить остальных. сплетни и пересуды...

Стойкость семейного мещанства и его опасные масштабы выведены в романе в том концентрированном виде, когда они уже предстают обуславливающими друг друга, как звенья цепной реакции, социальными факторами. Именно так увиден весь «комплекс» проблем мещанства в «Зеленой ветке», показывающей не только масштаб распространения, но и поразительную жизнеспособность семейного мещанства.

Александр Каландадзе сумел разоблачить внутреннюю сущность мещанства, сорвать с него маску и обнажить антиобщественную природу. Писатель показал, что мещанин сегодня уже не тот, что прежде; в нем многое ясно и обнажено, однако еще больше скрыто, замаскировано.

Отказ от всей этой, превратившейся в «систему», антиморали требует принципиальной и самоотверженной борьбы всей нашей общественности. Такова главная этическая концепция «Зеленой ветки». Основное достоинство этого романа состоит в том, что разоблачение сложной и многоплановой природы мещанства перерастает здесь в ясно осознанную тенденцию его окончательного краха и уничтожения, характерную для нашего общественного уклада.

Человеческое общество само устанавливает для себя нормы морали, нравственности в соответствии со своими социально-политико-экономическими принципами.

Положение же общества определяется и обуславливается именно общественными взаимоотношениями людей. Таким образом, эти нормы, как правило, не представляют собой некую неизменную догму. Карл Маркс в «Капитале» указывает на модификацию человеческой природы в каждую историческую эпоху, как на естественный и закономерный процесс. Очевидно, что эти модификации не могут не затронуть сферы морали и нравственности, поскольку в них ясно отображается сама сущность человека и человечности.

Правда, суть человека «не есть абстракт, присущий отдельному индивиду..., а совокупность всех общественных отношений»¹. Однако, наряду с этим, марксизм рассматривает человека как продукт собственного «я»². Весь долгий исто-

рический путь существования человека — одновременно процесс его формирования, процесс самопостижения, самоутверждения. Человек сам создавал обязательные и соответствующие определенным общественным структурам, подчиненные социальным аспектам такие феномены, как нравственность, этика. В них выражалось и выражается духовное богатство как общества в целом, так и общественного человека, которое передается из поколения в поколение, как созданная человеком высокосоциальная организованная традиция. Речь идет о тех аспектах и нормах морали, нравственности, в которых выражаются прогрессивные идеи и тенденции общества, ибо мы прекрасно знаем, что в классовом обществе и мораль является классовой категорией, выражающей определенные классово-политические воззрения.

В этических принципах нашего общества впервые в истории общества нашло воплощение такое сочетание и слияние всего комплекса нравственных норм, когда они выражают духовные интересы всего общества в целом и подчиняются им. Это — сформировавшиеся в единую систему, новаторские по своей сути моральные нормы, в которых нашли отражение взаимоотношения человека новой социальной и духовной формации с обществом, нормы и принципы, выражающие отношение отдельного человека и всего коллектива к труду, к коммунистическому образу жизни.

Таким образом, недооценка нравственных норм, любые отступления от норм морали неизбежно влекут за собой противопоставление интересов личности интересам общества, его высоким гуманистическим принципам.

Именно в силу этого естественна и закономерна та обостренная заинтересованность, которую наша литература постоянно проявляет к морально-этической проблематике, та бескомпромиссная принципиальность, с которой она относится к любому отступлению от всенародного морального кодекса, к каждому симптому проявления опасной бациллы антиморали.

Перевел Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ

¹ К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 4, с. 162.

² К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 26, ч. III, с. 516.

ОБЩИЙ подъем культурной жизни в Тбилиси в 40—60 гг. XIX века отразился на развитии литературы и театра, больше внимания стало уделяться изданию художественной литературы. Литературные связи России и Грузии этого времени качественно отличаются от предыдущих периодов, характерной их особенностью является усиление личных контактов деятелей культуры, взаимовлияние литератур.

В этот период в Грузии побывало немало деятелей русской культуры. Среди прибывших в Грузию в эти годы был и Г. А. Токарев.

О Токареве в нашем литературоведении не известно ничего, кроме того, что он был директором Тбилисской публичной библиотеки. В книге исследователя Ш. А. Хантадзе о М. Броссе¹ это имя упоминается под определением «некий». Хантадзе сообщает, что М. Броссе получил интересное письмо от Г. Токарева, совершившего путешествие

Анна ФАЛИЛЕЕВА

ТИФЛИССКИЙ ПЕЧОРИН

●

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
РОМАН,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В ТИФЛИСЕ

¹ Хантадзе Ш. А. Академик Мари Броссе и европейское и русское грузиноведение. «Мецниереба», Тбилиси, 1970, с. 146, 210.

в окрестности горы Эльбрус. Оно было опубликовано в «Известиях Академии наук».

Гавриил Алексеевич Токарев был надворным советником, чиновником Канцелярии наместника на Кавказе М. С. Воронцова, устройтелем и первым директором Тбилисской публичной библиотеки и музея Кавказского отдела Императорского русского географического общества, действительным членом Кавказского общества сельского хозяйства. «Он открыл первую русскую книжную лавку в Тифлисе»², принимавшую заказы на книги, создал первую библиографию книг о Кавказе. Токарев — автор множества статей, печатавшихся как в столичной, так и тбилисской прессе, романа «Сила воли». Нами обнаружена и неизвестная трагедия писателя «Фаранзема». Дата рождения Токарева неизвестна. Умер он в Тбилиси от несчастного случая в августе 1854 года, как выясняется из некролога, напечатанного в «Актах».

В 1851 году газета «Кавказ» опубликовала сообщение о выходе в свет романа Г. А. Токарева «Сила воли». До написания романа он выступал в прессе как путешественник, страстный любитель древностей, серьезный ученый и публицист. В 1847 году он начинает писать капитальный труд «Об источниках сведений о Кавказе», публикует его сначала в газете «Кавказ» за 1847—1848 годы, а затем и в сборнике «Кавказ» № 1. Имея доступ к самым редким книгам и рукописям (как раз в то время он создавал библиотеку по приказу наместника), Токарев использовал богатейший материал. Работа состоит из нескольких частей, цель ее: дать «полный указатель всех источников, который мог бы служить хорошим руководством желающему заняться историею, географиею, статистикою и проч. Кавказа» (1847, № 27).

Токарев называет использованные источники и хотя предупреждает, что его работа «не есть статья критическая...», однако не удерживается от оценок: восхищается переводом «Одиссеи» Гнедича, трагедией Эсхила «Прометей» и т. д.

Другой капитальной, не опубликованной полностью работой Г. Токарева является «Путешествие по Эриванской губернии». Впервые отрывок из нее — «Эчмиадзин и его окрестности» — появился в «Кавказе» (1851, № 49). Токарев с восторгом пишет о суровой красоте Армении, о прекрасном храме, о его богатейшей библиотеке.

² Акты Кавказской археографической комиссии, т. XI, с. 868.

6 августа 1849 г. он вместе с князем Г. Эристовым и профессором Абихом отправился в экспедицию на снеговой хребет северо-западной цепи Кавказа, о чем и опубликовал статью в XXVIII томе «Современника» за 1851 год. В журнале приведена только первая часть путешествия. Продолжение, то есть описание возвращения с хребта, осталось в рукописи по желанию самого автора, «дабы не утомить благосклонного читателя».

Поездка списана живо, красочно. Это скорее записи впечатлений, чем труд ученого, с поэтическими описаниями, философскими сентенциями. Три восторженных любителя природы испытали самые разнообразные приключения — падали с лошадей, ели диковинные блюда, пробирались по непроходимым тропам, но неизменно восторженно и радостно относились к жизни.

«Как холодно и дико кругом, — пишет он, — так и веет пустыней... Здесь царство смерти... совершенное отсутствие жизни, растительности. Долго мы шли этим пустынным путем, скользя беспрестанно по снегу и напрягая все силы. Труден был наш путь и тих, как вся окружающая природа...» (с. 19). Но Токарев приводит в своем дневнике и подробный отчет об этой экспедиции, цифры о высоте гор, перевалов и другие данные, точные наименования. Мы можем назвать его статью одной из первых научных работ о северо-западной цепи Кавказа.

В 1852 году Токарев в газете «Кавказ» публикует еще один отрывок из путешествия по Эриванской губернии под названием «Даралагезское ущелье». Здесь даются подробные описания начала путешествия, встретившейся по пути церкви Кизик-Банк, которую Токарев называет «замечательнейшей по оригинальности». Интересы Токарева — самые разнообразные. Он одинаково восторженно описывает и великолепное ущелье, которое «можно назвать истинно живописным», и опыты разведения суходольного риса.

В № 48 «Кавказа» за 1852 год видный писатель В. А. Соллогуб, также член Географического общества, опубликовал статью «Об источниках для познания Кавказа», где упоминается и работа Токарева, а в № 63 — «Извлечение из протокола Комитета Кавказского Отдела Географического общества», в котором сообщалось, что Г. А. Токарев представил свой труд о Кавказе М. С. Воронцову и что решено передать его для рецензирования А. Бартоломею (1852, № 48).

Г. А. Токарев был не только известным публицистом, библиографом, но и автором художественных произведений. В Ленинградской публичной библиотеке имени М. В. Салтыкова-Щедрина нами были обнаружены его малоизвестные книги, изданные в Тбилиси. Они еще раз доказывают, как неразрывно переплетены убеждения писателя, его общественно-политические взгляды с творчеством.

В 1851 году в «Кавказе» появилось такое сообщение:

«В Тифлисе говорят о литературной новости, именно о романе Г. Токарева «Сила воли». Для многих из знакомых автора памятен тот вечер, который он посвятил чтению, в кругу их, своего произведения. Теперь Его Сиятельство Князю Наместнику угодно было, вследствие просьбы Г. Токарева, принять посвящение себе этого первого русского романа, написанного в Закавказье, и автор, приступая к печатанию его, принимает подписку на свою книгу. Об условиях подписки будет объявлено в следующем номере «Кавказа».

Сообщалось также, что новый роман поступит в печать к 12 сентября (1851, № 51). Так и вышло. В июне 1851 года цензор Г. Сублия подписал произведение к печати, а в 1852 году оно увидело свет³.

Прежде чем перелистаем этот доселе мало кем из наших современников читанный роман, отметим, что он представляет собой одно из многочисленных подражаний роману Лермонтова «Герой нашего времени». Интересен он и как отражение жизни современной автору Грузии.

Первая картина — пейзаж, дикая природа, которую восторженно описывает автор: «Здесь все дико, угрюмо, страшно, но великолепно, здесь пейзаж Сальватора Розы. И странно! — Эта дикая, необработанная картина пленяет меня гораздо более, нежели прекрасная и разнообразная картина Тифлиса».

Главный герой, по расхожему стереотипу тех лет, разочаровавшийся «холодный эгоист, всегда скучающий», обвиняющий во всем общество: «...И как подумаю я, что всем этим обязан я этим людям, этой жизни, которою они живут, этому бледному обществу, в котором все большею частью поддельно, лицемерно, в котором так мало чувств и еще менее идей!»

В повествование вводится и недвусмысленный «Дневник

³ Токарев Г. А. Сила воли. Тифлис, типография Канцелярии наместника Кавказского, 1852.

пессимиста», в котором с изысканной изящностью салонного бытописателя автор рисует мелодраматическую историю любви героя и баронессы Штейнгаупт. В этом любовном триггере в ключении более всего бросается в глаза скука героя, описанная с дотошностью и натуральностью. Вот пример из беседы с возлюбленной: «Стара, дряхла, ветха Европа. Было время жизни и для нее, оно прошло уже давно, пришла и ее пора умирать. — Вот что опыт заставляет нас думать, и поневоле с насмешкою покачаешь головою, вспомнишь Лермонтова, да примешься скучать».

Часть вторая называется «Кто мой герой?». «Ничего в мире не знаю я глупее и смешнее фигуры молокососа, едва начинающего жить и разыгрывающего уже роль разочарованного.. — Жалко, грустно это человеческое состояние, которое не знали ни древнее общество, ни общество средних веков, которое есть исчадие нашего образованного XIX века».

Главный герой романа — граф Георгий Александрович Вендов, ротмистр гвардейского полка. Его родители умерли, когда он был ребенком. Опекун дал ему блестящее образование, но с детства мальчик был лишен любви, ласки, дружеского участия. Он рано познал свет и быстро разочаровался в нем. Георгий любил повторять строчки Лермонтова:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!..

Токарев находит много общего между героем лирики Лермонтова и Печориным, и он последовательно, как ему кажется, «разоблачает» обоих. Он недоумевает, для чего понадобилось Лермонтову писать о скучающих «молокососах», как он их называет, и почему поэт не дает ответов на им же поставленные вопросы. И решает ответить на них сам.

Итак, рецепт первый. Как перестать скучать? Г. А. Вендов, сын аристократа, промстал все наследство и стал нищим в молодые годы. Но «для Георгия это событие было спасением». Он перестал скучать, т. к., чтобы выжить, надо было работать. «Он был такой натурой, которая задыхается от избытка сил, если их некуда направить, не на что употребить, которых бедствие вовсе не убивает, для которых невзгоды только очистительный огонь, из которого они выходят закаленными».

Герой начинает писать статьи. Хоть они не приносили большого дохода, но денег было достаточно, чтобы жить честно. Токарев пишет о своем герое: «Он испытал уже все, кроме одного — состояния пролетария». Но вскоре для него стала невыносимой: «материальные лишения, ничтожные сами по себе... постоянно обессиливали душу». Он влез в долги и вскоре понял, что «человек ценится не по личным достоинствам, а по количеству денег в его кармане, и как важны деньги в наш прозаический купеческий век». Пройдя через унижения, долговые обязательства, трагическую любовь и жестокую болезнь, он наконец обретает счастье, «зависящее от самого себя, а вовсе не от внешних обстоятельств». Но тут же, противореча самому себе, Токарев вознаграждает героя за перенесенные мучения — Георгий получает наследство от богатого родственника. И Вендов отправляется в путешествие по Европе.

Судя по тексту, Токарев хорошо знал и любил литературу. Особенно часто в его речь врывается тонкая лирика Лермонтова, произведения которого он знал досконально. Но стиль самого автора отличается тяжеловесностью, в романе слишком много морализаторских рассуждений.

Так, в IV части («Лагерь») Токарев скучно вразумляет читателя о цивилизующей роли России, об «упорной, но славной» Кавказской войне, которая названа им «вооруженной пропагандой цивилизации».

В V части стиль произведения становится излишне цветистым. К примеру: «Заря багровила Восток, и на ярком пурпуре ее обозначились золотые полосы сейчас готового появиться солнца».

Одной из интересных глав является шестая под названием «Тифлис», посвященная критике местного светского общества. В этой части романа отражена жизнь столицы Грузии того времени. В публицистическом стиле ставит здесь автор вопрос о необходимости устройства именов, о пользе образования, о театре, о публичной библиотеке. Токарев красноречиво описывает пейзаж Грузии, Военно-Грузинскую дорогу. Почти все писатели, проезжавшие по этой дороге, описывали легендарное Дарьяльское ущелье. Дает его романтическое описание и Токарев: «Вот направо появилась Арагва, которая, убегая от страстного и неистового своего любовника Терека, пугаясь его необузданной страсти, ищет убежища от нее в объятиях старшей сестры своей Куры... Трудно вообразить себе что-нибудь неистовее этой реки,

стиснутой в узком ложе громадными скалами. Невозможно предположить, чтобы было что-нибудь дичее, угрюмее, су- ровее этого ущелья...»

В следующей главе описывается эпизод Кавказской войны, участие героя во взятии Салты. В VII части Георгий появляется в столице. Он уже полковник, взявший в плен «наиба» Шамиля. Старый Хаджи-Бек, магометанин, ведет религиозные споры с пленившим его русским. После выздоровления старца Вендов берет его на поруки, а Хаджи-Бек из чувства благодарности принимает христианство, что лишнее раз дало возможность Токареву восславить силу православного вероисповедания.

В этой же главе появляется «Бела» под именем Аеша. Девушка безумно влюбляется в русского красавца. Но Георгий никого не любит — ни петербургскую баронессу, ни простую дагестанку, дочь спасенного им старика.

В VIII части романа — «Европа и Азия» — появляются варианты Грушницкого и Казбича, тоже несколько видоизмененные. Кайхосро Сакварелидзе, влюбленный в баронессу, решает убить Георгия, подстрекаемый Рельским, очарованным Аешею, в то время как сам герой разыгрывает роль фаталиста.

В главе «Месть» весьма мелодраматично описана схватка Георгия и Кайхосро, в результате которой Кайхосро погибает, а доктор Вернер, простите, Пралецкий, спасает нашего героя.

А в «Вопросах и ответах» (глава XIV) Георгий пытается ответить на вопросы: кто подстрекал убить его? Как к нему относятся баронесса и Аеша? Придя к верному выводу, что во всем виноват он сам, его эгоизм, Георгий решает покончить с собой.

Но мы уже привыкли к метаморфозам изменчивого характера нашего героя, поэтому нет ничего удивительного в том, что он вместо самоубийства поехал поправлять свое здоровье в Кисловодск. Тут он заводит новый роман с «Мери», начало которого описано так: «Страстно брызнули искры из очей Георгия, сбивая ее своим магнетизмом, и новый поцелуй, горячее прежнего, лег жгучею печатью на ее аристократическую ручку».

Не обошлось здесь, конечно, и без дуэли, правда, в иных, чем у Лермонтова, обстоятельствах. По-иному решает Токарев и судьбу Белы-Аеши. Уехав в Петербург, эта дикая

дагестанка становится светской дамой, влюбляется в другого и забывает Georgia.

В «Последнем слове» (XX глава) Георгий вновь возвращается в Тифлис как раз к тому времени, когда у баронессы Людмилы Штейнгаупт умирает муж. Как по заказу, наш герой вновь влюбляется в новоявленную вдову, получив к тому же новое важное назначение. «И ярче, все ярче блестела луна, и громче, все громче заливался в влюбленных трелях соловей».

Так благополучно заканчивается этот роман, полемически направленный против «Героя нашего времени». Токарев пытался противопоставить свою программу понимания жизни всей философии романа Лермонтова без попытки понять произведение великого поэта. Вспомним историю нищенства героя, те выдуманные, дутые страдания, через которые он прошел, вспомним бесконечные противопоставления судеб героев токаревского романа судьбам лермонтовских героев, вспомним, наконец, заглавие романа — «Сила воли», чтобы понять, как страстно желал Токарев доказать, что спасти от скуки, безделья, страданий могут только честность, правдивость и труд. Георгий приходит к счастью, совершив много добрых, благородных поступков. Он умеет трудиться — бедность научила. Поэтому он и становится главным, любимым героем Токарева.

В сущности, автор прав, противопоставляя пессимизму и внешней неприкаянности Печорина деятельную натуру. Но уж слишком его герой оторван от жизни и слишком неубедительны художественные ухищрения писателя. Ведь за образом Печорина стоит целое общественное явление, а за Вендовым — одна лишь токаревская концепция.

Но все же этот роман, несомненно, интересное явление как отражение влияния романа Лермонтова на литературный процесс XIX века.

Общий подъем культурной жизни Грузии в 40—50-х годах повлиял и на развитие театра. С 40-х годов в Тбилиси наблюдалось оживление театральной жизни. Сюда были выписаны итальянская оперная и балетная труппа, русская драматическая труппа, куда входили такие известные актеры, как Яблочкин, Немов, Маркс и другие. Здесь было построено новое театральное здание, оформленное замечательным русским художником, другом Лермонтова Г. Г. Гагариным. Токарев не прошел мимо всеобщего увлечения театром.

В 1854 году в Тбилиси отдельной книгой была издана

пятиактная стихотворная драма Г. Токарева «Фаранзема»⁴, подписанная к печати цензором А. Зайцевым. Для нас интересна она прежде всего тем, что посвящена Нине Александровне Грибоедовой, с которой Токарев несомненно был знаком. В посвящении автор пишет:

Не дерзостно ли с именем я славным
Свое неведомое имя ставлю в ряд?
Не дерзостно ль пред Ангелом добра прекрасным
Кладу ничтожный свой и скудный вклад?..
Но под плащом великого созданья
Укрыться может малый труд, —
Так Музы трепетной моей мечтанья
К ее стопам пускай падут!
И пусть тогда кто только взглянет
На этот труд ничтожный, бедный мой,
О славе русской вспомнит дорогой
И про себя пускай тот скажет:
«Она бессмертному творцу
Любовь святую вдохновила,
Бездарному ж она певцу
Эгиду имени вручила!»

Тифлис, 1853 год, 30-го августа.

В предисловии к пьесе говорится, что так как история Армении далеко не так известна, как история Греции или Рима, то он решил представить в виде драмы отрывок из «Истории Эриванской губернии». Основой ему послужили исторические источники на французском языке, «История Армении», сочинения историков.

В целом эта драма — типичное подражание классицистическим образцам, которые к тому времени уже давно изжили себя. Она очень схематична, стиль напыщенный. Единственное живое лицо, заслуживающее внимания в этой трагедии, — Фаранзема, образ которой — удача автора.

В год выхода книги в свет — 1854 — ее автора не стало. И, увы, мало кто вспоминал о нем до сегодняшнего дня, хотя изучение жизни и творчества Токарева представляет интерес с точки зрения раскрытия новых аспектов русско-грузинских литературных взаимосвязей.

⁴ Токарев Г. А. Фаранзема. Тифлис, типография Канцелярии наместника Кавказского, 1854 г.

ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

Тамара ЦИНЦАДЗЕ

КАКОГО ЦВЕТА АМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА, созданная на американском континенте черными американцами, представляет собой яркую, колоритную, своеобразную часть культуры Соединенных Штатов Америки. Путь ее развития был далеко не равномерным. Процесс этот, обусловленный целым рядом причин социального, политического, исторического, психологического и культурного порядка, порой казался замедленным, порой же весьма бурным. Одним из таких бурных периодов были 10—20-е годы нашего столетия. Период этот в истории развития негритянской культуры и литературы явился временем первого наиболее значительного взрыва в культуре чернокожих американцев, важным истоком музыкального, литературного, драматического, сценического творчества американских негров. Немаловажной причиной было обращение негритянских художников той поры к богатому негритянскому народному творчеству, фольклору, возрождение и переработка многих его форм. Были причины и иного рода. Некоторые из них рассмотрены в предлагаемой статье.

В Соединенных Штатах Америки в начале XX века в среде интеллигенции заметно обострились «антииндустриальные» настроения, нашед-



шие широкое распространение впоследствии, особенно после второй мировой войны. С развитием «технической цивилизации» и углублением вызванных ею противоречий и социальных проблем вера в технический прогресс уступила место критическим голосам в его адрес, стремлению бежать из общества, в котором господствует машина и где не остается места для чувств, эмоций, иллюзий, гармонии и красоты.

В начале третьего десятилетия известный американский историк литературы В. Л. Паррингтон писал о сложности американской действительности и «американском детерминизме» — следствии машинного производства. К тому времени стало ясно, что «техническая цивилизация» привела к стандартизации, нивелировке духовных ценностей. И если Уолт Уитмен с восторгом писал о технических достижениях Америки, то к 20-м годам XX века энтузиазм писателей иссяк; они уже бунтовали против технического прогресса, приведшего к бездуховности американской жизни. Первой реакцией было бежать, бежать без оглядки, спрятаться от машины — чудовища, измолотившего тысячи и тысячи жизней. Это был своего рода неоромантизм, искавший спасения в природе, в простоте и естественности нетронутой цивилизацией жизни; стремление преодолеть навязанную индустриализмом изоляцию людей, их отчужденность от мира; стремление обрести утраченную целостность. Эти настроения были весьма важны для возникновения литературы Негритянского Возрождения¹.

Крупнейшее черное гетто Америки — Гарлем — в 20-х годах стало новой Меккой, негр — предметом культа, созданным северянами вариантом «счастливого черномазого», модернизированного, однако, фрейдизмом. Изменение отношения к неграм явилось следствием увлечения примитивом. Впервые в истории Америки негром стали восхищаться: в руках его был ключ к простой, здоровой жизни, давно утерянный миром белых.

Тут же следует оговорить, что любители всего экзотического, первозданного и примитивного, игнорируя реальное положение вещей, восхищались не живым негром — жителем трущоб, работником фабрик и заводов, а собственной идеей о негре, отечавшей их новой философии, идеей примитива, абстрактным образом, не соответствовавшим действительности и вызвавшим протест самих же негров уже в 20-х годах (об этом свидетельствуют статьи Уильяма Дюбуа, Джеймса У. Джонсона, Чарльза

¹ Под этим названием известен период 1910 — 1935 гг., когда произошло существенное развитие жанров и форм в литературе и искусстве американских негров.

Джонсона, Бенжамина Броули, Стерлинга Брауна, Джесси Фосет, Клода Маккея, Ленгстона Хьюза и других теоретиков, критиков и художников Негритянского Возрождения).

В центре Гарлема располагались модные гарлемские бары, кабаре, клубы, магазины, и ночные гости — любопытные туристы — не видели ни районов бедноты, ни дневной озабоченности гарлемцев, большинство из которых, как пишет в своей автобиографии Л. Хьюз, не могло оплатить расходов на приличные похороны.

Гарлем стал средоточием всего, что только могло привлечь искателей экзотики и приключений. Стимулированная войной промышленность манила в Гарлем все новых и новых пришельцев из «черного пояса», а также Ямайки, Гаити, Мексики, Кубы, Вест-Индских островов, Филиппин и даже Западной Африки. Гарлем запестрил всеми оттенками кожи; речь, музыка, обычаи, одежда, национальная кухня, другие формы народной культуры — все было многообразно и многолико.

В неоднородной гарлемской среде легко возникали внутрирасовые трения, конкуренция из-за работы, квартир, мест развлечений. Это была громкоголосая, шумливая, многоязычная, пестрая, легковоспламеняемая среда. Ища поддержки собратьев, пришельцы организовывали клубы, братства, утверждали свои религиозные культы, основывали церкви, открывали места развлечений, пытались перещеголять друг друга самобытностью. Шло время, различные группы сближались, ассимилировались, превращались в единую, хотя и не одноликую негритянскую общину. По словам одного из теоретиков Негритянского Возрождения Аллана Локка, в Гарлеме негры — выходцы из различных стран, притираясь друг к другу, создавали расу; до тех пор это была раса лишь номинально.

Возник негритянский средний класс. Этому способствовали и усилия Букера Т. Вашингтона², поощрявшего негритянский бизнес и создавшего в 1900 г. Национальную Негритянскую Деловую Лигу с 40 тысячами членов, ежегодно собиравшихся до 1933 г., и вновь активизировавшуюся в 1939 г. Возникли негритянские компании по продаже земли и домов. Негры редко владели круп-

² Известный негритянский политический и общественный деятель конца XIX — начала XX века, сторонник медленного «вживания» негров в американскую систему, проповедовавший профессионально-техническое обучение, развитие «черного бизнеса» и нравственное самоусовершенствование как путь сближения с белым большинством.



ными предприятиями: «черный бизнес» ограничивался предприятиями местного значения и малого размаха.

И все же небольшая часть гарлемцев заметно разбогатела. Сара Уолкер, бывшая прачка из Сент-Луи, сколотила миллионное состояние, изобретая способ выпрямления жестких мелких кудряшек. Она оставила свои миллионы дочери Алелии, ставшей покровительницей творцов Негритянского Возрождения. А. Уолкер сыграла немаловажную роль в популяризации их произведений среди американских писателей, издателей, критиков, благотворителей, читателей.

В Гарлеме 20-х годов все более углублялись контакты между черными и белыми. Весьма популярными стали гарлемские театры с их искрящимися мюзиклами и водевилями. Негритянские мюзиклы утвердили на американской сцене элементы народных негритянских представлений — «кейквок» и «кун сонг», включавшие танцы, песни и пантомиму. Тогда же вошли в моду регтайм, блюзы и спиричуэлс (хотя популяризацию последних негритянские певцы начали еще в конце прошлого века). Черные драматурги впервые обратились к серьезной драме, а музыканты — к классической музыке, созданной на основе негритянского музыкального фольклора.

В тот период негритянские комедийные и драматические актеры, танцоры, певцы, мимы приобрели широкую популярность. На переосмысленных традициях театра менестрелей³ еще в 90-х годах прошлого века возникли первые негритянские «шоу» — «Представление креолов», «Цветные», «Восток в Америке», «Трубадуры черной Патти», мюзиклы У. М. Кука «Поездка в Кунтаун» и «Клоринда или происхождение кейквока». В 1900 г. на Бродвее с огромным успехом шли мюзиклы «В Дагомее», «Абиссиния» и «Бандана лэнд» с участием известного негритянского комедийного актера Берта Уильямса, с 1910 г. игравшего в «белых» труппах и ставшего первым черным актером, игравшим на американской

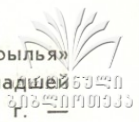
³ Группы менестрелей возникли на плантациях как единственная форма развлечений для самих рабов, хозяев и их гостей; они приносили и дополнительную выгоду хозяевам, отпускаявшим их время от времени «на гастроли» на соседние плантации и в близлежащие городки. Северяне охотно подхватили это новшество и пересадили его на новую почву — на американскую сцену, переняв его стиль, язык и форму. Но в этих представлениях «менестрелей» негры не участвовали. Более полувека представления менестрелей были самой популярной формой развлечения на американской сцене.

сцене. В первом десятилетии века было поставлено немало других негритянских «шоу». В 1915 г. зритель увидел «Страну черных» с музыкой У. М. Кука, комедиантами Миллером и Дилсом и превосходными негритянскими певцами. Шоу это распалось, купленное по частям бродвейскими директорами и режиссерами. Бродвей щедро заимствовал у негритянских постановщиков и актеров, невольно признавая силу их творческого дарования.

Роль негров в развитии американского театра велика, так как подлинное национальное искусство возникает лишь на народной основе. Строгая мораль отцов-основателей исключала театр, как и все прочие формы развлечений. Лишь к концу XVIII в. из Англии, а позднее — из других европейских стран в Америку потянулись актеры-неудачники, искатели фортуны. Так в Америке возник театр, заимствовавший свои элементы из английского, французского, немецкого, испанского театров и ставший основой коммерческого американского театра. Театр этот почти не имел корней в американской почве. Театровед Э. Айзекс писала: «Американские драматурги поздно поняли то, что художники, скульпторы, музыканты уяснили себе еще в предыдущих поколениях: что любая форма искусства должна время от времени обращаться к народным корням. Поэтому американский театр так хил сегодня... Мы продолжаем строить на основе, не имеющей под собой прочного фундамента... Это основная причина того, что мы свободно заимствуем из негритянской музыки, танцев, ритмов, комедии и пантомимы» («Негры в американском театре», Нью-Йорк, 1947, с. 15, на англ. языке).

Интерес к народной драме зародился в региональных колледжах и театрах в начале нашего столетия. К тому времени народный дух, народная культура полнее всего сохранились в среде американских негров (индейцы были почти истреблены, а их культура в значительной мере уничтожена). Видные американские драматурги Ю. О'Нил, П. Грин, Р. Торренс, Д. Хейворд, М. Коннели и другие в 20—30-х гг. создали яркие пьесы на негритянском материале. Интерес к народной негритянской драме сохранился и даже возрос в 30-х годах. Пьесы на негритянскую тему составляли важную часть репертуара и Федерального театра.

Тогда же при негритянских колледжах возникли хоровые коллективы и театры. В 1917 г. американский поэт и драматург Р. Торренс поставил свои «Три пьесы для негритянского театра», имевшие большой успех. В 1920 г. Ю. О'Нил поставил «Императора Джонса» с известным негритянским актером Ч. Гилпином в главной роли. Негритянская тематика стала популярной среди драматургов. В 20-х годах появились следующие пьесы на негри-



тянскую тему: 1924 г. — «Всем детям человеческим даны крылья» О'Нила с Полем Робсоном в главной роли; «Судьба падшей женщины» негритянского драматурга У. Ричардсона; 1925 г. — «Хижина тетушки Махалии» П. Грина; 1926 г. — «Тоскливая дорога» П. Грина; 1927 г. — «В лоне авраамовом» П. Грина; «Порги» Д. Хейворда, на основе которой в 1935 г. Дж. Гершвин создал широко известную оперу «Порги и Бесс» (отмечена Пулитцеровской премией); 1929 г. — «Гарлем» негритянского романиста и драматурга У. Сермана и У. Раппа; нашумевшая пьеса «Зеленые долины» М. Коннели с участием Р. Харрисона (отмечена Пулитцеровской премией); занятая в пьесе негритянская труппа и использованный автором негритянский диалект приблизили пьесу к народной драме в стиле Синга и Лорки. Негритянский театр обретал своеобразную форму и одновременно становился органической частью американского театра.

Возникшие в 20-х годах музыкальные и театральные традиции продолжались и в 30-х: «Поющие блюзы», «Дикие ритмы», «Медная лодыжка» Д. Хейворда, «Дом Коннели» П. Грина, пьесы негритянских драматургов Х. Джонсона «Бегите, дети» и Дж. Миллера «Никогда более», пьеса Л. Хьюза и М. Джона «Мулат» по рассказу Хьюза. Во всех пьесах участвовали негритянские актеры. К 1930 г. полторы тысячи негров работали в театре. Популярностью пользовался открытый в 1923 г. гарлемский театр «Лафайет», в котором ставились современные пьесы белых и черных американских драматургов с участием популярных негритянских актеров Р. Маклендон, Э. Митчел, Р. Харрисона, Ч. Гилпина, О. Купера, Б. Диас, И. Клоу, Дж. Бледсу, П. Робсона...

Но в первых двух десятилетиях XX века проблема освоения американской театральной сцены черными актерами была решена лишь частично; они приобрели известную популярность у белого зрителя лишь к концу 20-х годов, неизменным успехом же по-прежнему пользовались негритянские шоу и ревью — талантливые поставленные и исполненные веселые, яркие представления. Широкую популярность завоевали певцы и танцоры Флоренс Милс, Боб Робинсон, братья Николасы, Джозефина Бейкер (позднее сверкавшая в парижских варьете) и многие другие представители негритянской эстрады.

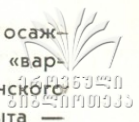
Популярными стали музыканты У. Хенди — отец блюзов, Дж. Юроп (руководивший оркестром 367-го негритянского полка и изъездивший с ним Европу), У. М. Кук, Р. Джонсон, Б. Кол и другие. Тяга американцев к Гарлему «веселых» 20-х привела к повальному увлечению негритянским джазом. Выступления негритянских музыкантов и певцов были коронными номерами в ноч-

ных клубах Парижа и других европейских столиц. За 1919—1921 годы «Оригинальный Дикселенд джаз» дважды побывал в Англии, в 1926 г. другой негритянский джазовый оркестр давал представления в Париже, Брюсселе, Берлине, Москве. Оркестр Поля Уитмена, гастролировавший в Англии в 1926 г., не имел успеха — его тщательно аранжированный «джаз» сочли подделкой под оригинальную негритянскую музыку. Негритянский джаз, вариации на народные блюзы и спиричуэлс буквально покорили Америку и Европу. Об огромном значении форм негритянской народной и эстрадной музыки для американской и мировой музыкальной культуры пишут многочисленные американские и европейские исследователи.

В 20-е годы впервые приобрели известность негритянские художники и скульпторы — А. Дуглас (чьи огромные полотна и сегодня украшают залы университета Фиск и отеля «Шерман» в Чикаго), П. Хейден, А. Смит, А. Мотли, У. Джонсон, С. Джонс, Х. Вудраф, М. Джонсон, А. Сэвидж, Р. Барт и другие. До 20-х годов были известны отдельные талантливые негритянские художники и скульпторы (Д. О. Теннер, М. У. Фуллер, Э. Льюис), но в период Негритянского Возрождения возникла уже целая школа черных художников. В 1920 г. в Нью-Йорке была устроена выставка негритянской живописи и скульптуры. В 1925 г. американский филантроп У. Хармон основал фонд помощи негритянским художникам, а в 1928 г. устроил выставку их произведений. В 1935 г. открылась Гарлемская мастерская искусств.

В 1910—20-х годах негритянское (как и африканское) изобразительное искусство и особенно скульптура способствовали возникновению новых направлений в европейской, а позднее американской живописи и скульптуре. Негритянская тематика стала ведущей в творчестве американских художников Дж. Чаплина, Дж. Блоха, Г. Макфи, М. Стерна, Э. Аркера, Р. Марше, Г. Куна, латиноамериканца М. Коварубиуса и других. О влиянии негритянского изобразительного искусства на американское и европейское писали Л. Патерсон, С. Дозер, А. Локк, А. Барнес, Дж. У. Джонсон, Ч. Джонсон, Дж. Роусек и Т. Кернан, К. Клодел, Дж. Денмарк, Дж. Портер, М. Бучер и другие искусствоведы и исследователи, начиная с 20-х годов.

Созданные американскими неграми музыка, танцы, изобразительное искусство в силу своей самобытности, оригинальности, спонтанности, богатству колорита значительно обогатили американское и европейское искусство. Американские и европейские музыканты, художники, писатели, актеры искали в негритянском искусстве свежие, оригинальные элементы, изучали негритянскую



культуру. Большинство же туристов, гонимых любопытством, осаждало гарлемские бары и кабаре, стремилось приобщиться к «варварским ритмам», к «освежающему примитивизму» негритянского быта. Негр стал модой, черты негритянского характера и быта — предметом неизменного восторга и имитаций.

Этот возникший вдруг интерес к негритянской культуре был частью более широкого интереса к африканской культуре и искусству; его росту способствовали многие французские писатели, художники и ученые: писатели — репортажами из Северной Африки и Конго, антропологи — исследованиями в области примитивных культур, художники — восторженной популяризацией африканской скульптуры.

Для американцев и европейцев негритянская культура была исполнена свежести, представляла собой источник новых форм и идей в искусстве. Европейские и американские писатели, художники, критики изучали негритянское искусство и общество, находя в них резкий контраст с «губительной» западной культурой. Считалось, что негр обладает свободной от забот, «немеханизированной» душой; что его «здоровая натура» очень невыгодно оттеняет «нервную», «мелкобуржуазную», «изломанную» психику белого человека. И хотя рассуждения эти были поверхностны, они стали частью самоосознания и самокритики американцев 20-х годов, частью поисков ими причин экономического и морального упадка страны.

Многие американские писатели 20-х проявили живой интерес к возникшему вновь культу примитива. Подобно тому, как в прошлом веке европейские писатели — авторы «колониальных» романов — стремились к экзотике далеких островов, так тянулись американские писатели 20-х годов к странам Азии и Африки, где они искали спасения от разрушающего влияния буржуазной американской цивилизации. Они проявили интерес к трущобам черных гетто Сезера и глухим уголкам Юга, где жили негры — «пасынки американской цивилизации», «примитивные натуры», которым, по мысли расистов, никогда не удастся овладеть знаниями и культурой белого человека.

Многие американские писатели воспринимали современную цивилизацию как машину. Так, Шервуд Андерсон с сожалением писал о современной механической цивилизации, убившей «поэзию и идеи» прединдустриального общества. В книгах Андерсона есть герои, стремящиеся избежать сложности жизни в высокоразвитом обществе или живущие в нем безо всяких контактов с миром техники и комфорта. Свообразным лекарством от неврозов, вызванных сложной жизнью, предстают в его романах негры. Они

сумели сохранить себя «неиспорченными»; их жизнестойкая «примитивная» мудрость описана Андерсоном как сельская, прединдустриальная, «южная», простая, как сама земля.

УДК 82(07) 730.84(07) 730.84(07) 730.84(07) 730.84(07)

Это упрощение расовой и человеческой индивидуальности негров было характерно для 20-х годов. В «Каникулах» У. Фрэнк прибегал к нему, чтобы создать контраст между сознанием белых и черных. К. Ван Вехтен акцентировал его в «Негритянском райке», Р. Фербенк — в «Танцующем негре», тогда как у У. Фолкнера уже в «Шуме и ярости» и тем более в романах 40—50-х годов, у Э. Колдуэлла, К. Маккаллерс, Ю. Уэлти, Ш. Э. Грау, Р. П. Уоррена и других писателей видим уже тонкое проникновение в сложную психологию негра. После 30-х годов и особенно после второй мировой войны интерес белых писателей к негру стал искреннее и глубже.

Американский критик В. Калвертон объясняет, что подразумевали наиболее мыслящие из американских писателей под «примитивизмом» негра: «Примитивизм негра — следствие его американского окружения. Говоря, что негры примитивны, мы не имеем в виду их происхождение или институты, идущие от дикарей; мы имеем в виду то, что они не обучены каким-то замысловатым формам искусства и литературы и что созданные ими литература и искусство просты... Лишь в 20-х и после белые осознали значение негритянского искусства для Америки» («Освобождение американской литературы», Нью-Йорк, 1932, с. 443 — на англ. языке). Увлечение примитивизмом в 20-х во многом представляло собой протест против стандартизации, вызванной современной наукой и техникой. Неопримитивизм стал движущей силой некоторых религиозных культов, сторонники которых стремились спастись от изматывающего темпа современной жизни или хотя на краткий срок ощутить подобие душевного спокойствия, давно покинувшее людей в современном высокоиндустриализованном мире.

Казалось бы, внезапное, но закономерное обращение к негритянской тематике, к «низким» темам — это еще одна сторона углубившейся в 20-х годах в американской литературе тенденции к реализму, заставившей белых писателей отойти от норм «изысканной» традиции. Увлекавшиеся негритянским материалом писатели подготовили почву для обсуждения проблем, считавшихся запретными в прошлом. Между 1914—1930 годами американские драматурги создали пьесы, в которых проявился новый подход к героям-неграм; они доказали, что черные актеры и негритянский материал прекрасно воспринимаются на американской сцене вне связи с традицией менестрелей и привычными стереотипами.



Американские критики уделяют особое внимание вышедшему в 1926 г. роману белого писателя Карла Ван Вехтена «Негритянский рай». Это сгусток всего того, что писали в 20-х любители «экзотического», «примитивного» Гарлема. Вехтен вобрал в себя все свойства белых интеллектуалов, увлекавшихся гарлемской «экзотикой», джазом и другими «броскими» формами негритянской культуры. Возможно, Вехтен питал искренний интерес к жизни негров и симпатии к ним. Он представлял широкому читателю многих черных писателей, покровительствовал им, дружил с ними. Он пытался (искренне и с самыми добрыми намерениями) отразить жизнь негров такой, какой видел ее.

Но Вехтен — белый интеллектуал, эстет — видел Гарлем из окон ночных клубов; он слышал лишь огненные ритмы «негродного» джаза, вызывавшие ассоциации с тамтамами. До его уха не доносились звучавшие в ночи на окраинах Гарлема печальные блюзы. И он добросовестно описал то, что видел, — веселую, сытую негритянскую элиту, нерациональный быт гарлемской богемы. Вехтен искал, а потому и находил экзотическое и примитивное в жизни гарлемцев. Кабаре виделось ему джунглями, негры — их импульсивными, эмоциональными обитателями, стремившимися к полному, ничем не сдерживаемому выражению своей натуре.

К. Ван Вехтен в гротескной форме преподносит жизнь, идеалы, цели «нового негра». Скрытая ирония ощущается уже в самом названии книги — райком Вехтену представляется ночной Гарлем, что не может не вызвать недоверия у объективного читателя. Неужели все, что описывает романист, это рай, и для кого? Неужели нет в Гарлеме людей, которым чужда подобная жизнь (льянство, оргии, драки, поножовщина, убийство и другая подобная «экзотика» первозданно-стихийного мира негров), которым более понятен каждодневный труд, мысли о хлебе, работе, обычных для жителей гетто трудностях и проблемах? Герои Вехтена — франт-сутенер, гангстер, хозяин кабаре и торговец, неудавшиеся актеры и писатели, цветная элита и интеллигенция (нужно сказать, весьма мало интеллигентная), миллионер, дорогая содержанка. Этим набором персонажей и исчерпывается весь состав негритянского гетто по Вехтену.

Тем не менее в течение нескольких лет Вехтен имел последователей среди белых и даже черных писателей. Поскольку он в известной мере был законодателем литературной моды, некоторые начинающие негритянские писатели (Клод Маккей, Арна Бонтан, Уолас Серман, Рудольф Фишер, Ленгстон Хьюз) подхватили открытую им тему «экзотического» Гарлема. Но, вопреки утверж-

дениям буржуазных критиков, идеи Вехтена не определяют ни направления литературы Возрождения, ни даже творчества названных писателей. В неполной форме идеи эти отразились лишь в их ранних произведениях, позднее же были полностью изжиты ими и даже стали предметом их критики и иронии (роман Сермана «Дети весны», рассказы Фишера, автобиографии Хьюза и Маккея).

Обращение черных писателей к «примитивизму», экзотической гарлемской или африканской теме ограничивается в основном творчеством участников т. н. «гарлемской школы». Это было своеобразное проявление неоромантических тенденций, возникших в американской литературе 20-х. «Примитивизм» означал ослабление критической направленности творчества отдельных писателей Возрождения, выдававших частный конфликт за общественный и существенно смещавших акценты. Этот неоромантизм пришел в негритянскую литературу извне; он не был обусловлен внутренними потребностями развития самой негритянской литературы, основной традицией которой была и остается традиция протеста.

Приглядевшись ко всем этим фактам, неминуемо приходишь к выводу, что два термина — «Гарлемское Возрождение» и «гарлемская школа», под которыми буржуазные критики представляют современным читателям негритянскую литературу 20-х, а также акцентируемая ими роль Вехтена в негритянской литературе тех лет призваны в ложном свете представить перед читателями Негритянское Возрождение, подчеркнуть эстетизм среди негритянских писателей, их аполитизм, отход от действительности, тягу к экзотическому, к культуре примитива и инстинкта.

Таким путем буржуазные критики стремятся обесценить этот период в негритянской литературе, нивелировать его ценности. Они отождествляют два разных понятия — «гарлемская школа» и «Негритянское Возрождение», из которых первое было лишь незначительной частью Негритянского Возрождения. Поэтому для обозначения негритянской литературы 20-х наиболее правильным является термин «Негритянское Возрождение». Термин «гарлемская школа», как его объясняют буржуазные критики, узок и ложен. Хотя многие зарубежные и некоторые советские критики (в том числе М. Беккер) оперируют этим термином, мы не смогли выявить такого направления (а тем более целой школы) в негритянской литературе первой трети XX века.

Такой школы, по существу, не было; были отдельные произведения нескольких писателей, в которых в той или иной мере отразилось влияние Вехтена, — роман Маккея «Домой в Гарлем», роман Бонтана «Бог посылает воскресенье», несколько рассказов

Сермана и Фишера, несколько стихов Хьюза и ряда других, менее значительных поэтов. Но в романе Маккея намечается уже совсем иная, характерная для последующей его прозы центральная тема. В романе Бонтана нарушен даже главный принцип Вехтена — действие происходит не в Гарлеме, а в маленьком провинциальном городке; появляется глубокая социальная перспектива; трагический конец героя вызван всем тем, что казалось Вехтену колоритным и привлекательным в жизни негров. Сходные с вехтеновскими описания встречаются в нескольких ранних рассказах Фишера, в романах Сермана «Чем чернее ягода» и Хьюза «Смех сквозь слезы». Вот и все «вехтеновское» в прозе Негритянского Возрождения; в ней нет единой программы, цели или стиля. Американские критики любят говорить о большом влиянии Вехтена на негритянскую поэзию 1910—1930-х годов и особенно на раннюю поэзию Хьюза. Но, как свидетельствует сам Хьюз, он создал свои первые сборники стихов еще до знакомства с Вехтенем и таким образом никак не мог испытывать влияния этого писателя.

С нашей точки зрения, о влиянии Вехтена можно говорить лишь в отношении уже упомянутого романа Маккея (хотя Маккей также отрицал влияние Вехтена) и, возможно, пьесы Сермана и белого драматурга У. Раппа «Гарлем». «Вехтеновский стиль» вовсе не означает прямого влияния Вехтена. Вехтен подытожил и в концентрированном виде, хотя и одномерно, представил в своем романе колоритность и своеобразие Гарлема 20-х. Но чтобы воплотить такой Гарлем в своих произведениях, негритянские писатели и художники не нуждались в посредничестве Вехтена. Они были частью гарлемской реальности, которая сама по себе, без влияния белых мэтров не могла не отразиться в их творчестве.

Хоть К. Ван Вехтен и был популярен среди американских читателей, он не смог создать «школы» среди негритянских писателей и не оказал существенного влияния на негритянскую литературу 20-х, хотя и повлиял на часть белых писателей, обращавшихся к негритянской теме. Намного важнее роль Вехтена в общей литературной атмосфере 20-х, в популяризации негритянской литературы и негритянских писателей, в углублении интереса к ним среди американских критиков, издателей, филантропов. Его усилиями в те годы упрочились связи между белой и черной американской интеллигенцией.

Для одного человека он сделал очень многое в деле упрочения контактов между негритянскими и белыми писателями, художниками, критиками, издателями. В этой роли Вехтен намного привлекательнее, чем в роли литературного наставника чер-

ных писателей 10—30-х годов, а тем более бытописателя Гарлема. Что же касается значимости Вехтена в американской литературе, то это очевидно из следующего факта: в свою двухтомную антологию «Американская литература» компетентные ее составители (К. Брукс, Р. У. Б. Льюис, Р. П. Уоррен) внесли обширный (для антологии) материал, представляющий творчество ведущих негритянских писателей 1910—1930 годов — У. Дюбуа, Дж. У. Джонсона, К. Каллена, К. Маккея, Дж. Тумера, Л. Хьюза, А. Бонтана и З. Н. Херстон, но не сочли нужным писать о К. В. Вехтене, У. Фрэнке, П. Розенфельде, Г. Мэнсоне и многих других американских литераторах, считавших себя (а порою и сегодня считааемых иными критиками) наставниками негритянских писателей первых трех, а то и четырех десятилетий XX века.

Окидывая взглядом лишь один пласт негритянской культуры, охватывающей во времени всего два-три десятилетия, поражаешься тому, сколь сильное влияние оказал он на общенациональную американскую культуру; сколь ярко проявился во многих ее формах — в музыке, танце, литературе, драме, скульптуре, прикладном искусстве, даже национальной кухне; поражаешься тому, как сильно способствовал он переоценке ценностей частью белых американцев, приятию ими многих форм негритянской культуры, пересмотру и частичному изменению отношения к своим черным согражданам.

В культуру Соединенных Штатов кроме американцев африканского происхождения внесли свой вклад многие расовые и национальные меньшинства, населяющие эту страну. Это в незначительной мере обогатило культуру Америки. Факт этот всегда замалчивался, истинное положение вещей извращалось расистами, объявлявшими культуру Америки «чистой», «англосаксонской», «белой». На самом деле в многонациональной, вернее разнонациональной американской культуре много цветов и оттенков. Среди них не на последнем месте цвета черный, бронзовый, коричневый — цвета Африки, из которой вышли миллионы афроамериканцев. Именно африканский элемент американской культуры (в музыке, песнях, танцах, скульптуре, поэзии) не раз признавался наиболее репрезентативным американским в контексте мировой культуры.



ПЛАМЯ костра отбрасывало в ночь трепетные, причудливые тени. От порывов ветра они вздрагивали и как ожившие бежали прочь от огня.

— И тогда поднял Амиран свой огромный меч, — попыхивая трубкой, рассказывал старик-табунщик.

Сельские ребята, собравшиеся в ночное, придвинулись поближе к рассказчику — сейчас начнется самое интересное...

Вдруг в дальнем углу пастбища испуганно всхрапнула кобылица, следом боинственно заржали жеребцы.

Старик резко поднялся, звякнули Георгиевские кресты на груди, невидяще обратился в черную даль. Что-то неладное твердилось там.

— Мелитон! Ступай-ка, взгляни, что за шум?

Поймав на лету берданку, крепкий босоногий мальчишка бросился в ночь. Оставшиеся у костра напряженно вслушивались в ржание и топот, доносившиеся от табуна.

— Волки, наверное, — взволнованно предположил рослый, плечистый подросток, — пойдём и мы...

Ему было обидно, что табунщик послал не его — самого сильного и самого

Владимир
МИРОШНИЧЕНКО

ЗНАМЯ НА РЕЙХСТАГЕ

старшего из ребят, а выскочку Мелитона, которого он откровенно говоря, недолюбливал. А за что, спрашивается, любить-то его? На два года младше, слабее, а ни в чем не уступает, везде норовит первым быть.

В сердце его еще жила обида за поражение в традиционных сельских скачках, которые устраивали горцы по случаю сбора урожая. Мелитон тогда обошел Вахтанга на своем худосочном жеребце на целый корпус и получил главный приз. Но что самое обидное: не его, Вахтанга-Силача, представителя старой и славной фамилии, послали на районные скачки в Цаленджиха, а безродного крестьянского сына Мелитона Кантария, правда, он достойно защитил честь села — стал победителем, но это лишь усугубляло вину Кантария перед Вахтангом и его славным родом...

Старик жестом усадил ребят на места и, раскуривая погасшую трубку, сказал чуть слышно:

— Такой не пропадет...

Мальчишки молча согласились с табунщиком. Каждый хорошо знал Мелитона и его большую семью. Знал, что поднимается он чуть свет и идет с отцом в поле, а вернувшись, помогает матери по хозяйству, опекает младших. Ведь в семье кроме него еще пятеро детей. А он старший.

Знал каждый мальчишка в селе, что зимние долгие вечера не коротал Мелитон за играми в кости, а рубил дрова или, прихватив ружьишко, шел в горы и без трофея домой не возвращался...

— Жжах-ба-бах! — гулко разнесся выстрел в межгорье, мальчишки вновь вскочили и бросились во тьму. На этот раз табунщик удерживать не стал, он, старый солдат, справедливо считал, что именно в такие мгновения наливаются сердца мальчишек отвагой, без которой не станут они настоящими мужчинами, защитниками родного очага.

Через несколько минут они вернулись. Впереди, важно сопя, самые маленькие тащили за хвост и за лапы серого хищника.

— Мелитон волка убил! — радостно и гордо провозгласили они. — И стая разбежалась...

Когда возбуждение улеглось, один из мальчишек спросил табунщика:

— Дедушка, а это правда? Правда, что был Амиран?

Старик на минуту задумался, пыхнула клубом дыма неизменная трубка...

— Видишь ли, бичо, и дерево на пустом месте не вы-



растает. Так и легенда. Был, видно, сильный и храбрый человек по имени Амиран. За бедных и слабых заступался. С врагами родины, не щадя себя, бился и побеждал...

Вот и стали люди из уст в уста передавать о нем рассказы, каждый прибавлял что-то от себя, и через века...

Да что за примером далеко ходить. Вот сегодня ваш друг Мелитон убил волка. Завтра по селу разговоры пойдут, а через неделю и в Цаленджиха будут говорить, что живет в Джвари отважный мальчик Мелитон Кантария, сын Варлама, который один разогнал волчью стаю, а вожака убил...

А если серьезно, вы еще услышите легенды о нем, храбрый растет мальчишка...

Внезапно наступил рассвет. Солнечные лучи «зажгли» снежные шапки на величавых вершинах Ушбы и Тетнульда, изгнали тьму из долины, сказки отступили в черные ущелья и темные рощицы у подножия гор...

У костра остался старик-табунщик с Георгиевскими крестами на груди да десяток сельских мальчишек, работающих, любопытных, крепко стоящих на родной земле.

* * *

Городок проснулся от рева сотен моторов и грохота разрывов. Рядовой Кантария, выхватив из пирамиды винтовку, выскочил из палатки, глянул в белесое предрассветное небо и обомлел: с запада навстречу зарождающемуся дню шли десятки огромных черных самолетов с белыми крестами на фюзеляжах. Достигнув палаточного лагеря на берегу Нема, они сбросили бомбы и разворачивались для нового захода на цель.

Между палатками взметнулись огненные смерчи, вспыхнули горячими факелами сразу несколько строений, воздух наполнился гарью и кислым пороховым дымом.

Растерянность первых минут прошла, и роты спешно строились.

— Товарищи красноармейцы! — обратился к бойцам политрук Барыкин. — Гитлеровская Германия напала на нашу Родину. Наша боевая задача — держаться до последнего человека, не дать противнику прорваться в глубь территории...

А через несколько минут, сжимая оружие, солдаты лежали в окопах в ожидании первой схватки с врагом.

Солдатом Красной Армии Мелитон Кантария стал почти за год до начала войны — в сентябре сорокового года. Служба давалась ему легко. Одно лишь тревожило красноармейца — плохо знал он русский язык.

«Какие счастливые, — думал Мелитон о товарищах, — понимают друг друга, могут часами говорить о том, о сем. А я нем как рыба и не знаю даже, отчего это они сейчас рассмеялись — над шуткой какой или надо мной подтрунивают?»

Кантария дотошно выяснял значение слов. Не прошло и полгода, как он начал сносно говорить сам, а понимал почти все...

Целыми днями пропадали войны в поле на учебных позициях вдоль Немана, что протекал вблизи палаточного городка. Для красноармейца Кантария, выросшего в горах и привыкшего лазить по самым невероятным кручам, не были утомительными ни маршевые броски с полной выкладкой, ни учебные атаки, ни саперные работы. За какой-нибудь час он мог выкопать окоп и оборудовать его по всем правилам инженерного искусства.

С каждым днём накал ратного труда возрастал. Даже самые выносливые роптать начали. И красноармейцу Кантария казалось, что все эти бесконечные марш-броски, отработка ружейных приемов, ползание по-пластунски — блажь старшины. Так было. Но потом в дни и ночи войны раз за разом, выходя невредимым из самых жестоких боев, он не раз вспоминал с благодарностью своего командира старшину Сорокина, его нелегкие уроки..

Фашисты появились неожиданно из-за бугра. Они шли во весь рост, строго соблюдая боевой порядок, как на параде. Видимо, не ждали сопротивления. Одеты они были не в обычную полевую форму гитлеровцев, а в темно-серые, почти черные мундиры, будто подчеркивая свою принадлежность к смерти, которую всюду сеяли. После боя красноармейцы узнали, что это были померанские стрелки — отъявленные головорезы, набравшие боевой опыт в боях на землях Польши, Бельгии, Франции...

Теперь они шли по советской земле, шли вызывающе, закатив рукава мундиров по самые локти.

Лишь они приблизились к окопам, бойцы, впервые уви-

девушки врага в лицо, с удивлением обнаружили, что многие из них пьяные.

— Ишь, гады, шнапса хватили, — это старшина Соррен, высунувшись над бруствером, цепким взглядом оценил противника. — Ну, сейчас мы их протрезвим..

Загремели выстрелы. Кантария стрелял поначалу не целясь, сгоряча. Так и расстрелял первую обойму. Глядя на приближающегося к окопу гитлеровца, вдруг понял, что идет он прямо на него и если он в следующее мгновение не выстрелит точно, то... Этого гитлеровца красноармеец Кантария запомнил на всю жизнь: длинный, худой, под носом рыжие усики, а сам какой-то весь белесый, особенно неестественной показалась кожа на оголенных до локтей руках — мертвенно-белого цвета. Руки убийцы..

Прижался Мелитон к земле, прицелился хорошенько и нажал на спуск. Выстрела своего не услышал. Только увидел, как фриц, словно сходу налетев на преграду, остановился и рухнул на спину метрах в двадцати от окопа.

Это был первый фашист, которого убил, защищая Родину, рядовой войны Мелитон Кантария.

* * *

— Мелитон, к командиру! — энергично тряхнул за плечо задремавшего было Кантария рядовой Коваленко, огромного роста парень.

Кантария бодро вскочил и выбежал следом за посыльным. В траншее он нагнал Коваленко, который с трудом продвигался по узким и извилистым ходам сообщения.

— Что за дело? — спросил Мелитон, переводя дыхание. — Зачем к командиру?

— Ночью за «языком» пойдем, — склонившись к уху товарища, шепнул Коваленко. — «Первый» приказал..

В мгновение преобразился Кантария. Ночная, полная риска «работа» армейских разведчиков очень нравилась ему. А ходить в «гости» к фашистам с таким хлопцем, как Коваленко, одно удовольствие. Смел, ловок был казак с Терека, пройдет через чащу — ветка не треснет..

В поиск уходили в полночь. В такие минуты Кантария невольно вспоминал весь свой боевой путь, и особенно в должности разведчика. Слово нарочно оживляла в нем память опыт работы во вражеском тылу, будто знала, что может он пригодиться..

В разведку Мелитон Кантария попал на Дону. Зашел

как-то к пулеметчикам командир разведвзвода капитан Кондрашов, разговорился с красноармейцем Кантария.

— Слушай, солдат, — спросил офицер, — со своим пулеметом в самое пекло норовишь попасть. Не пробиваемый, что ли?

— У нас в Грузии, товарищ капитан, — отвечал Мелитон, — старики так говорят: «Если сердце имеешь из стали, то кольчугу можно носить из дерева». Вот поэтому и цел...

— Ты, я вижу, не из скромников, — рассмеялся офицер и спросил солдата: — А на охоту ходить любишь?

— Очень даже, — ответил Кантария, — у себя в горах и коз бил, и кабанов...

— Кабанов? — заинтересовался офицер. — Серьезный зверь, опасный. Даже волк его, поджав хвост, обходит...

А вскоре красноармейца Кантария вызвал командир и сказал с улыбкой:

— Так вот, товарищ Кантария, переводим вас в разведку. Снова будете на охоту ходить. Только не на кабанов, а на зверя похлеще...

Линию фронта разведчики преодолели успешно. Бесшумно продвигаясь в зыбкой тишине, они шли вперед, ища встречи с врагом.

«Хоть выколи глаза, — раздраженно думал Мелитон, — так и заблудиться недолго. Где свои, где чужие?» Вдруг он почуял запах кофе, значит фрицы рядом. Предупрежденные им товарищи слились с землей, буквально на ощупь ползли на кофейный аромат.

Схватка была короткой. Трое любителей кофе с коньяком остались лежать в траншее, а четвертый с закрученными за спину руками и кляпом во рту, понукаемый разведчиками, семенил впереди группы.

Когда до своих оставалось рукой подать, в стане врага поднялся переполох. Загремели выстрелы, вспыхнули над нейтральной полосой осветительные ракеты. Ночную тьму расчертили огненные нити трассеров. Заухали разрывы. Все были невредимы, лишь Кантария, который прыгнул на опеневшего «языка», получил жестокий удар в спину между лопаток.

К нему подполз Коваленко:

— Задело, Мелитон?

Кантария лишь глухо простонал в ответ.



— Ничего, — успокаивал его товарищ, — потерпи чуток, уgomонятся...

Скоро стрельба стихла, разведчиков вновь обняла шина.

— Ребята, — прошептал пришедший в себя Мелитон, — бросьте меня, со мной не дойдете. А кто уцелеет, передайте матери моей в Джвари, погиб, мол, смертью храбрых...

— Помолчал бы, Мелитон, — зло прохрипел в ответ Коваленко, — молчи и нам не мешай. Знаем, что делаем...

Он взвалил на себя товарища и понес...

Пролежав несколько месяцев в госпитале, Мелитон вернулся в родную часть.

Радушно приняли во взводе разведки смолянина Михаила Егорова. Все старались приветить бывшего партизана, и больше других Кантария.

— Так мы же земляки! — воскликнул он, узнав, что новичок со Смоленщины, и представился: — Мелитон Кантария.

Егоров недоверчиво пожал протянутую руку, всем своим видом показывая недоумение: шутит, что ли, младший сержант?

— Не веришь? — не унимался Кантария.—Я ведь воевал на Смоленщине, столько сел и деревень прошел, может и в твоей был. Как же не земляки?!

Словоохотливый, бывалый Мелитон и молчаливый, застенчивый Михаил быстро сдружились. Они удачно дополняли друг друга в боевой работе. Горячий, порывистый Мелитон и рассудительный, неторопливый Михаил. В их паре как бы слился фронтовой опыт армейского разведчика и умение партизана бороться с врагом в тылу. Поэтому и успешны были их многочисленные рейды по тылам противника, потому и доверяло им командование ответственные и сложные задания.

* * *

Старший сержант Егоров и младший сержант Кантария вышли в коридор и остановились, оторопело глядя друг на друга. До сознания не сразу дошло, что это им, именно им доверено водрузить знамя Военного Совета Третьей ударной армии. И не где-нибудь, а над рейхстагом; на самом куполе. Чтобы всему миру было видать...

Минуту назад их вызвали к командиру полка. В штабе

полковник Зинченко, пытливо взглядываясь в прокопченные лица и запавшие глаза разведчиков, спросил:

— Давно вместе воюете?

— От самой Вислы, товарищ полковник, —  бойко от-
ветил Кантария.

— Вот что, хлопцы. Поручаю вам ответственное задание, о котором может мечтать каждый советский солдат. Прорветесь в рейхстаг и поставите вот это знамя на его купол. Ясна задача?

— Ясна, товарищ полковник!

— Выполняйте, желаю успеха!

Он протянул разведчикам завернутое в чехол знамя, затем обнял каждого...

Разведчики взяли знамя, поправили каски, автоматы и выбежали из подвала на площадь перед рейхстагом.

Огонь по смельчакам хлестал отовсюду. Из проемов зданий били вражеские пулеметы, орудия. Пробежав метров семьдесят, бойцы упали и залегли. В бой тем временем вступила наша артиллерия. Фашисты на время притихли. Новый рывок пехотинцев.

А до главного входа в рейхстаг оставалось метров двести. Сколько тысяч километров прошли солдаты по дорогам войны, в метель и зной, в дождь и грязь, под пулями и под бомбами, а эти последние метры казались самыми тяжелыми, самыми длинными, самыми опасными. А пройти их надо было во что бы то ни стало.

О том, как трудны были эти метры, могло поведать и знамя. Трижды попадали в него пули: две в полотнище, одна в древко у самой руки Егорова...

Вот и широкие ступени рейхстага. Вместе с автоматчиками лейтенанта Береста разведчики ворвались в вестибюль. Вперед полетели гранаты.

Шаг за шагом пробивались советские воины к намеченной цели. С волнением следили однополчане за продвижением знаменосцев к куполу рейхстага.

Забравшись на чердак, разведчики увидели, что крыша продырявлена снарядами. Это к лучшему, решили они, не надо искать слуховое окно. И полезли в ближайшую дыру. Берест и его бойцы остались на чердаке — прикрывать.

На крыше огляделись. Внизу в дыму и пожарищах стояли руины столицы бесславного третьего рейха. Сражение в Берлине продолжалось. Грохотали сотни орудий, заглушая лязг и скрежет танков, треск автоматов и пулеметов.

Вдруг один из осколков пробил брюхо железного коня, за которого они держались, чтобы не снесло взрывной волной. В эту пробоину и воткнули разведчики древко знамени.

Снаряды рвались вокруг — видно, заметили фашисты красный стяг над рейхстагом. Спрятались разведчики под чугунной плитой, часа два прождали. Как стемнело, стих обстрел, выбрались из укрытия, задумались: «Вроде бы не ладно знамя поставили. Только с одной стороны видно, да и то не всем. Знамя переставить надо на купол, как, впрочем, и приказано...

А купол возвышался над крышей на десятки метров. Стекла все из него повылетели, остался лишь стальной каркас. По его ребрам решили и лезть вверх.

Рейхстаг горел, дым столбом поднимался сквозь дыры в крыше и из пола, ел глаза, дышать было трудно. Но зато в темноте и дыму разведчики были невидимы для фашистских снайперов.

Они карабкались выше и выше. Под ногами разведчиков бездна, чадающее жерло вулкана. Как могут, солдаты подстраховывают друг друга. Когда знамя у Кантария, позади него поднимается Егоров, поддерживая товарища. Потом они меняются «ролями».

От дыма и копоти нечем дышать, горло разрывает кашель. Особенно тяжело дались последние метры, на одной воле лезли. Хотелось именно сегодня — 30 апреля — установить знамя. Какой завтра всему человечеству подарок будет к Первомаю...

Взобрались. Липкими от крови руками развернули алое полотнище и воткнули древко в самую, что называется, маковку, накрепко привязали.

«Ну вот, порядок,—подумали,—теперь со всех сторон всем видать знамя Великой Победы, Всеми миру...»

* * *

Мелитон Варламович обвел зорким взглядом старого разведчика сотни молодых лиц, обращенных к нему. Более двух часов продолжается встреча, а в живых глазах по-прежнему горит интерес...

«О чем еще рассказать этим ребятам? — думает ветеран. — Может, о самом ярком празднике в жизни — параде войск, состоявшемся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в ознаменование победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне».

Он вспоминает, как радовался, когда его с боевым по-
братимом Михаилом Егоровым в числе других отличившихся
воинов направили в Москву для участия в параде Победы.

Прошли долгие тренировки, и вот сводные полки воинов-
победителей застыли в торжественном строю. Тысячи глаз
устремлены к Мавзолею В. И. Ленина, на трибуну которого
поднимались руководители Коммунистической партии и Со-
ветского правительства во главе с Председателем Государст-
венного Комитета Обороны и Верховным Главнокомандую-
щим Советскими Вооруженными Силами И. В. Сталиным.

Потом «заговорили» куранты, раздалось цоканье копыт,
и воздух над главной площадью страны содрогнулся от гро-
ма команд.

Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жу-
ков. Вместе с командующим парадом Маршалом Советского
Союза К. К. Рокоссовским он объехал сводные полки.

На параде Победы старшему сержанту Михаилу Егоро-
ву и младшему сержанту Мелитону Кантария было поруче-
но быть ассистентами знаменосца, несущего главную релик-
вию Великой Отечественной...

«А может, поведать юношам о том, как вернулся домой
к мирному труду, — решает Мелитон Варламович, — о том,
как односельчане избрали председателем колхоза, который
назвали символически «Победа»...

Пять лет проработал в колхозе молодой председатель,
потом переехал в Ткварчели. Здесь он трудился на шахте. А
еще через пять лет перебрался жить на Черноморское по-
бережье. И здесь он нашел себе дело по душе — целых ше-
стнадцать лет работал плотником в СМУ-4 — укреплял бе-
рега от Очамчире до Сухуми. О том, как работал все эти
годы, могут рассказать награды: орден Ленина, медали...

И сейчас, несмотря на преклонный возраст, он продол-
жает трудиться. Много сил, конечно, снимает обществен-
ная работа. Вот уже который раз Мелитон Варламович из-
бирается депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. А
сколько встреч с молодежью было за сорок прошедших с вой-
ны лет... В них он видит свой долг памяти перед невернувши-
мися с войны, перед теми, кто отдал жизнь за сегодняшний
мирный день.



К 90-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ

ВСЕ разновидности писательского самовыражения от публичного выступления до интимного обращения, а не только результаты собственно творческой деятельности создают облик личности и облик времени. Вносит свои штрихи и такая специфическая, камерная форма взаимоотношений литераторов, как дарственная надпись на книге.

Автограф на своем творении был особенно принят в XIX веке, но и в наши дни такое лирическое обращение не утратило своего значения. Это весьма своеобразное явление — послание писателя, предназначенное для единственного читателя, чаще всего коллеги и друга. Поэт, переводчик и литературовед Л. Озеров предложил исследовать автограф на книге как жанр, которому он придает какое-то особое, исполненное интимности значение.

«Автору хотелось сохранить тепло руки на книге, как бы отчуждающей его от рукописи. Дать мету индивидуальности на типографском листе, унифицирующем и ту и другую. Автор как бы напоминал читателю книги о первородстве писателя, о своеобразии его прикосновения к

Мария
ФИЛИНА-РАМИШВИЛИ,
Елена КИАСАШВИЛИ

**„СОЛНЕЧНОМУ
ПОЭТУ
ТИЦИАНУ
ТАБИДЗЕ...“**

тексту, его тексту, набранному другими людьми. Вы
лишаете мои писания их прямой принадлежности мне, на-
поминаю о себе, оставляю на книге свои следы. 24.03.1979
Берите мое послание, подпись, дату, обозначение места. Дар-
ственная надпись да будет вам, читатель, напутствием — в
добрый час! Надпись на книге — это рукопись, сопрягаемая
с печатным текстом»¹.

Надпись эта не предназначена для публикации, но, как
дневники и переписка, она, выдержав временную дистанцию,
становится литературным фактом. И как все, что вышло из-
под пера большого мастера, она не может быть случайной,
не может быть незначительной.

Автограф такого рода интересен и любителям литера-
туры, и ее профессиональным исследователям. Скажем,
Г. Бебутов, на протяжении нескольких десятилетий собираю-
щий факты по истории литературного процесса, в статье «О
судьбах книг» размышляет о том, сколько уточнений может
внести надпись на книге в даты, события, обстоятельства
встреч, невозстановимые из других источников².

Порой экземпляр книги с автографом, попадая в раз-
ные руки, обретает собственную судьбу и отмечает какие-то
моменты в жизни и дарителя, и владельца. Естественно, го-
воря о послании на книге, мы имеем в виду надпись, адре-
сованную близкому по духу человеку, а не любезную отпи-
ску, автограф, предназначенный почитателю. Подписанная, к
примеру, на каком-нибудь творческом вечере незнакомому
или малознакомому человеку книга обретает новое качество,
превращается как бы в коллекционный экземпляр. А
сборник, подаренный другу, становится частью творческой
сущности писателя и несет в себе особую психологическую
нагрузку, некую неповторимость, позволяющую восстановить
целую цепь ассоциаций, вех и событий человеческой судьбы.

В этой области, где сама форма, требующая предель-
ной сжатости и безусловной доброжелательности (иначе за-
чем дарить), диктует определенный и ограниченный набор
обращений, проявить индивидуальность довольно сложно. И
все же надписи в большей или меньшей степени всегда вы-
свечивают и облик дарителя, и его отношение к дарствен-

¹ Л. Озеров. Надпись на книге. В сб.: Встречи с книгой. М., 1979, с. 228.

² Г. Бебутов. О судьбах книг. Заметки книголюбца. «Литературная Грузия», 1967, № 5, с. 93—96.



ному автографу, и к личности человека, которому книга предназначена. Это как бы концентрат чувств к адресату чувств, высказанных порой с обнаженной искренностью. Хотя дарственная надпись — «жанр микроскопической формы», в нем, как и в любом другом, можно выделить отдельные виды. Обращения бывают лаконичные и пространные: надпись-информация, надпись-воспоминание, надпись-намек, надпись-благодарность, надпись — просто любезность и прочее и прочее.

Мы расскажем лишь о некоторых надписях на книгах из личного архива семьи Тициана Табидзе, хранящегося в Музее дружбы народов Академии наук Грузинской ССР. Уже они позволяют составить пусть не целостную, но очень емкую картину поэтического содружества литераторов 30-х годов.

Знаменательно, что из первого поколения грузинских советских писателей именно Тициан Табидзе стал обладателем одной из самых уникальных библиотек такого рода. Возможно, есть собрания куда многочисленнее и полнее с коллекционной точки зрения, но редко можно встретить такой диапазон имен, когда о каждой дарственной надписи можно написать целую новеллу.

Перечисление книг и их авторов — это целый раздел советской литературы: В. Маяковский, А. Белый, С. Есенин, В. Каменский, Б. Пастернак, К. Федин, Е. Чаренц, М. Бажан, Ю. Тынянов, Н. Тихонов, Н. Заболоцкий, П. Антокольский, Е. Эренбург, Л. Леснов, И. Сельвинский, М. Шагинян, И. Андроников, В. Гольцев, М. Рыльский и многие другие. Чаще всего подарена была не одна книга: на протяжении долгих лет писатели делились с Тицианом Табидзе, а позже с его супругой появлением каждого нового литературного детища, значительного для автора, и в то же время, по его мнению, интересного для друга. Почти всегда выбор книги не случаен, и за каждой стоит история дружбы, порой многолетней, иной раз краткой, но прерываемой только смертью.

Тициан Табидзе был одарен необыкновенно покоряющим обаянием и интенсивной личностной энергией. Он умел притягивать самых разных людей, которые вне общения с ним зачастую резко не принимали друг друга. Табидзе же объединял их и примирял хотя бы в одном — в оценке его, Тициана. Это прослеживается в воспоминаниях, очерках, поэтических посланиях-портретах, это проглядывает и в надписях на книгах.

Возможно, Т. Табидзе собрал один из самых ярких в советской поэзии фейерверков признания в любви от писателей самых разных установок, литературных течений и направлений, от носителей непересекающихся художественных миров. Василий Каменский отметил именно лучезарность личности Т. Табидзе в надписи на своей книге «Автобиография, поэмы, стихи» (Акц. о-во «Закнига», 1927) — «Солнечному поэту Тициану Табидзе с дружеским сердцем. В. Каменский».

Как известно, В. Маяковский довольно редко подписывал свои книги и обычно надпись была вызвана каким-то порывом, связана с определенным фактом его внутренней жизни. Так, интересна история книги, подаренной им Т. Табидзе.

Это было в 1926 году, в период наиболее тесного общения двух поэтов. Следует отметить, что хотя их контакты и отличались интенсивностью, но были недолгими, вернее, возникли довольно поздно. Литературоведы продолжают писать о близости Маяковского и Табидзе еще с кутаисских, гимназических времен. Однако в то время поэты были едва знакомы — сказалась разница в возрасте, да и проучились они в гимназии одновременно всего несколько месяцев: Т. Табидзе поступил туда осенью 1905-го, а следующей весной семья Маяковских переехала в Москву. Имеются сведения о том, что, приехав в Тбилиси в 1924 году, В. Маяковский искал встречи с Т. Табидзе, который перевел на грузинский «Мистерию-буфф», но того не было в городе. И лишь в феврале 1926 г. между ними возникли дружеские отношения.

После выступления В. Маяковского в театре имени Ш. Руставели Табидзе и Яшвили организовали в его честь обед в ресторане «Симпатия», весьма популярном в среде творческой интеллигенции. Этот вечер, объединивший на время якобы враждующих грузинских символистов и футуристов, стал праздником поэзии. Расставаться не хотелось — катались на фаэтонах по городу, затем продолжили пир в знаменитых Ортачальских садах... На другой день — торжественный обед у Паоло и вечерний чай у Тициана.

В. Маяковский принес с собой несколько книжек — «Солнце в гостях у Маяковского», изданных в 1925 г. в Нью-Йорке с рисунками Д. Бурлюка, и подписал две из них супругам Табидзе. На экземпляре, адресованном Тициану, стоит: «Замечательнейшим друзьям Табидзе. Самому, Вл. Маяковский». Автограф на второй книге — продолжение первого: «Самой Макаевой (Табидзихе). Вл. Маяковский». Даже



в столь краткой надписи поэт не обошелся без шутливого неологизма.

В тот вечер вспоминали С. Есенина, и в ночь на 22 февраля 1926 г. написано стихотворение Т. Табидзе, посвященное памяти погибшего друга...

Всего одна строка выведена рукой Сергея Есенина на книге «Страна Советская» (Тифлис, 1925) — «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы. Сергей Есенин Тифлис фев 21/25». но мы знаем, что каждое слово в полном объеме отвечает своему значению — именно большой любви, именно большой дружбы. Вспомним, как стремился автор этих слов вернуться в Грузию к Тициану Табидзе и Паоло Яшвили вскоре же после отъезда: «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере — тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас...»³. Время, проведенное в близком общении с грузинскими друзьями, можно назвать «болдинской осенью» Есенина.

Много лет спустя Нина Табидзе опубликовала свои воспоминания о встречах с русским поэтом, о его дружбе с Тицианом и Паоло. Она же предоставила литературоведам сведения о грузинском периоде жизни Есенина. Благодарность за ее деятельную помощь звучит в надписи на книге исследователя Ю. Прокушева — «Нине Александровне Табидзе — большому и чуткому другу Сергея Есенина с добрым чувством от автора в память о встрече на земле гостеприимной и солнечной Грузии. Ю. Прокушев. 30.VI.61.» («Сергей Есенин», М., 1958).

По надписям на книгах Андрея Белого можно восстановить основные вехи наиболее интенсивного общения с грузинским поэтом. Впервые А. Белый приехал в Тбилиси в 1927 г. Когда-то Тициан Табидзе, чья юность была полностью отдана символизму, относился к русскому поэту как к недостижимому мэтру, и хотя после личного знакомства возни-

³ Письмо С. Есенина к Т. Табидзе неоднократно цитировалось полностью, оригинал хранится в Музее дружбы народов. Далее мы также в основном используем опубликованные и ранее не опубликованные материалы из фондов музея (дарственные надписи, письма, стенограмму творческого вечера, очерки). Специально ссылаемся лишь на документы, оригиналы которых находятся в других хранилищах.

кает «союз равных», трепетное юношеское почитание продолжает в нем жить. Именно к А. Белому обращено объяснение Табидзе в любви к русской поэзии: «С Вашим приходом нас осеняет величие русской поэзии, трепет которой мы осознали, как только осознали жизнь, — понятно почему так дорожим Вашим пребыванием в Грузии и почему и сейчас сердце дрожит от любви и гордости, что имеем личное общение с Вами...»⁴

Андрей Белый в свою очередь после первой же встречи полностью ощутил Табидзе как сложившегося поэта, человека особого дарования и воплощение грузинского духа. Об этом свидетельствует и самая ранняя из написанных им книг, точнее, литературный ежемесячник «Эпопея», под редакцией А. Белого (Москва—Берлин, изд. «Геликонъ», 1922, сентябрь) — «В знак «нечаянной радости» встречи с братом по духу Тицианом Табидзе и в знак союза Грузии и России в символе «зорь». Андрей Белый. Тифлис 2-го июня 27 года».

Эта надпись относится к числу несущих в себе большую смысловую нагрузку. В двух строках заключена почти вся эмоциональная информация о завязавшейся близости: и определенная закономерность возникшего тяготения (отсюда кавычки к словам «нечаянная радость»), и предвидение будущей миссии Т. Табидзе — своего рода общественно-культурного ориентира Грузии для деятелей инонациональной литературы, и, по-видимому, намек на единство символистского мироощущения. Слова Белого можно считать зачатком его развернутой характеристики-воспоминания — высокохудожественного, полного экспрессии и одновременно абсолютно точного портрета Т. Табидзе в очерках о Грузии «Ветер с Кавказа»: «...видит такое в тебе, что руками разводишь: «ведь вот: ты годами с писателями говоришь и работаешь; им — невдомек, что живет в тебе; этот грузин, проведя с тобой день, — разглядел, угадал». С удивлением разглядываешь ты сутулую спину Табидзе, влекомую полным лицом, убегающим за убегающей думой; бежит к горизонту — не видит, не чувствует; и на тебя — нуль внимания (все видит, все чувствует)»⁵.

Следующая надпись на книге «Петербург» («Никитинские субботники», М., 1928) — новый этап дружеских свя-

⁴ Т. Табидзе. Статьи, очерки, переписка, Тб., 1964, с. 239.

⁵ А. Белый. Ветер с Кавказа. М., 1928, с. 168.

зей А. Белого и Т. Табидзе: «Дорогому Тициану Табидзе с братским чувством неизменной близости. Андрей Белый, Каджоры, июля 28 года». В Коджорах (мы сохранили написание А. Белого) они отдыхали вместе, Белый называл их «при-тифлисское убежище» и почему-то эта обитель символизировала для него нечто привлекательное в самом Тициане. Табидзе же писал ему: «Особенно рад, что наступают ауспиции для Вашей жизни на Кавказе. Я и мои друзья готовы молиться, чтобы они продолжались в Шови, и в Коджорах, и в Кахетии. Ведь мы Вас привыкли считать старожилом Грузии, и каждый раз, за эти три года, ждем лета, чтобы иметь радость видеть Вас под нашим Солнцем»⁶.

Летом 1929 года А. Белый с супругой жили у Т. Табидзе и были очарованы атмосферой его дома. Русский поэт писал из Тбилиси Нине Табидзе, отдохавшей в это время на даче: «И хотя Вас не было, однако Вы — были: Вы были в том сердечном тепле и человеческом благоволении, которые мы ощущали в самих эманациях стен; кроме человека, с которым нас связывают сердечные отношения, над нами все время невидимо господствовала и хозяйка дома, оказавшего нам небывалое гостеприимство; и этого гостеприимства мы не забудем никогда; конечно, физически и морально выразителем тепла и ласки, которые мы ощущали, был Тициан, которого мы вдвойне и тройне полюбили и оценили, как человека, поэта и друга».

А в письме из Кучино, адресованном Тициану Табидзе (через несколько месяцев), читаем: «Очень рад, что Вы находите уют и сосредоточение в надтифлиских утесах; по опыту знаю, что только тогда человек освобождается, когда он имеет место, куда он может бежать, чтобы из тишины увидеть и себя, и окружающих. Иные думают, что периодические убеги от людей есть признак антисоциальности; наоборот: для меня в таких убегах приход к людям; ибо я хочу идти к близким, как на пир: прибранным, чтобы не представлять собой унылого неврастника, не имеющего, что принести для других со своих высот...»⁷. В том же письме А. Белый сообщает о выходе в свет своего «Пепла» и обещает его выслать. На книге поэт написал: «Глубоколюбимому Тициану Табидзе от Андрея Белого с памятью о вместе проведенных днях. Кучино 18 февраля 30 г.».

⁶ Т. Табидзе. Указанный сборник, с. 238.


⁷ Т. Табидзе. Указанный сборник, с. 241.

Три года — три подаренных книги. И почти вся история недолгой по времени, но исполненной удивительной внутренней поэзии дружбы. В 1934 году Табидзе пишет статью памяти А. Белого, как всегда оригинальную и далекую от общепринятых характеристик, словно подтверждающая мысль русского поэта о способности проникать в самое сокровенное. Завершается статья обещанием подробно описать встречи с Андреем Белым. Табидзе не успел осуществить своего замысла, однако отчасти их отношения все же запечатлелись в переписке и очерках, а в надписях на книгах, несомненно, акцентированы наиболее важные моменты их союза.

Как уже отмечалось, в библиотеке Тициана Табидзе — книги многих писателей и переводчиков, связавших в 30-е годы свою творческую судьбу с грузинской культурой. Можно почти достоверно воссоздать многие даты, хронологию приездов в Грузию, событий, историю развития отношений и т. д. Авторы этих изданий, чьи имена связаны с процессом становления советского переводческого искусства, сегодня воспринимаются как единое целое. На самом деле, пожалуй, ни одна плеяда, действительно объединенная общим делом, не состояла из столь несхожих дарований. Это сказалось и в различии психологической установки писателей, ставивших автограф на титульном листе собственной книги.

Юрий Тынянов, например, в своих надписях очень лаконичен, но даже эти краткие слова, прочитанные подряд, свидетельствуют об эволюции его отношений с Т. Табидзе. Так, первая книга, подаренная, возможно, при знакомстве, еще до приезда Тынянова в Грузию, содержит лишь слова любезности: «Многоуважаемому Тициану Табидзе с приветом Юр. Тынянов. 15.VI.31» (на книге «Подпоручик Киж», Л., 1930).

Через несколько лет, когда Ю. Тынянов стал одним из организаторов переводческого процесса, побывал в Грузии и уже успел «заразить» своей любовью к ее культуре многих русских литераторов, его обращение к Т. Табидзе несет в себе свидетельство искренней дружбы. Теперь подарок не просто знак уважения, книга выбрана специально, а в надписи, хотя и краткой, проглядывают точки соприкосновения автора и адресата: их обоюдный интерес к эпохе декабристов, Грибоедова, Ал. Чавчавадзе и вообще к истории. К тому времени у Табидзе был задуман большой исторический роман, и в течение нескольких лет он собирал всевозможные архивные документы и материалы. Ему принадлежит целый



ряд статей и очерков о деятелях русской и грузинской культуры XIX века, в частности статьи «Жизнь Александра Грибоедова» (1929), «Жена А. С. Грибоедова — Нина Чавчавадзе» (1929), «Нино Чавчавадзе» (1935) и др. И, по-видимому, Ю. Тынянов был подробно посвящен в эту область интересов грузинского поэта. Выступая 21 марта 1937 г. на его творческом вечере в Ленинграде, Тынянов сказал: «Я понял Тифлис — это один из нескольких замечательных городов, и он полон истории... на горе — могила Грибоедова, которого Тифлис и Грузия любят как родного. А надо сказать, что Тициан ходит по Тифлису, как ходит человек по своей комнате. Он в своих предстиховых ощущениях (у него, по-видимому, такие ощущения всегда наличествуют) историчен. У него история не есть книга, поставленная на полку, нет, история в нем и с ним, он ее чувствует, и поэтому он так открыт для нас, для русского искусства, для русской поэзии, которую он любит и понимает». Все это поясняет надпись на книге «Смерть Вазир-Мухтара» (Л., 1932) — «Дорогому Тициану Табидзе, другу и исследователю Нины Чавчавадзе. Юр. Тынянов с любовью. 1934.I.IV». А Нине Табидзе, известной своим романтическим настроением души, Тынянов вручает «Кюхлю» (Л., 1932), как бы поручая его женскому сердцу: «Моего первенца в хорошие руки. Нине Александровне Табидзе с дружбой и глубоким уважением. Юр. Тынянов. 1934.I.IV».

И последняя надпись — незадолго до творческого вечера Табидзе в Ленинграде в 1937 году. Того самого вечера, на котором Тициан значительную часть своего выступления посвятил размышлению о сопричастности всех культур, об общности чувств в любой настоящей поэзии и мыслям о Пушкине — самой державной силе русской литературы. Кстати, в том же году Т. Табидзе был одним из организаторов выставки в Тбилиси к 100-летию со дня гибели великого поэта. Он также автор нескольких статей об А. С. Пушкине, в которых с присущей ему горячностью и стремлением к достоверности выступает против всякого рода домыслов о пребывании поэта в Грузии. Живой Пушкин, писатель и человек, вырисовывается в статьях «Слово о Пушкине», «Пушкин на Кавказе», «Подстрочник грузинской песни в личном архиве А. С. Пушкина» и др. Поэтому вполне закономерно, что одной из последних книг, пополнивших «дарственную библиотеку» Тициана Табидзе, стал тыняновский «Пушкин» (Л., 1936).

Современники и друзья Т. Табидзе, литераторы многих национальностей, неизменно отмечали его удивительную способность проникать в любую культуру, оставаясь при этом яркой и неотъемлемой частицей культуры грузинской. Все многочисленные воспоминания о Тициане несут в себе общую идею: он стал не только достопримечательностью Тбилиси, но для некоторых — символом грузинской поэзии. Знаменательно, что Н. Тихонов опубликовал свою речь, произнесенную на творческом вечере Т. Табидзе в Ленинграде, в виде очерка о Грузии — «Страна большого поэтического дыхания». Он определил значение Табидзе как связующего звена в духовной жизни советских поэтов. Та же мысль звучит во многих надписях на книгах. Сам Николай Тихонов поставил на своем поэтическом сборнике такой автограф: «Милым моим друзьям Нине и Тициану во имя Казбека, Важа Пшавела и других вершин нашего внутреннего мира. Н. Тихонов, 1935» («Стихи и поэмы». Л., 1935). Перекликается с тихоновской надпись К. Федина — «Я привез с собою в Минск две таких книги. Первую из них я даю Тициану Табидзе — любимому поэту любимой Грузии, обнимаю его со всею дружбой! Конст. Федин. Минск. 13.II. 1936 («Похищение Европы». Л., 1935).

Отношения Тициана Табидзе и Бориса Пастернака, так много значившие для истории литературы, сами по себе уже стали литературной легендой и уже воззвали к жизни несколько поэтических посвящений. Эти две фигуры давно воспринимаются неразрывно друг от друга, как и фигуры Табидзе—Яшвили. Вспомним ахмадулинские слова: «...двух невероятных стран речь и речь нерасторжимы, как Борис и Тициан», вознесшие их близость в ранг символа взаимопритяжения русской и грузинской культур.

Переписка этих поэтов (отчасти опубликованная в «Литературной Грузии» и «Вопросах литературы» критиком Г. Маргвелашвили) стала неотъемлемой частью представлений о литературном процессе тех лет — письма и воспоминания создают особую эмоциональную атмосферу, вне которой уже непредставимы 30-е годы. И тем не менее материал далеко не исчерпан. Письма Б. Пастернака к грузинским друзьям, и особенно к Т. Табидзе и его супруге, стали одним из уникальных явлений, имеющих огромное значение для общего представления о культурном контексте эпохи. Эта переписка — поистине художественный факт в эпистолярном жанре XX века. Но и дарственные надписи на книгах Б. Па-

стерняка, которые почти не публиковались ранее, тоже своего рода эпистолярная исповедь малой формы, включающая в себя все черты пастернаковской прозы.



Вот самая ранняя из подаренных книг, сохранившаяся в семье Т. Табидзе и переданная затем в Музей дружбы народов — Б. Пастернак. «Поверх барьеров». Стихи ранних лет. М.-Л., 1931. Автор надписал ее так: «Тициану Табидзе, другу, поэту, поэтической погоде наших общих встреч, на память о его чтении в Коджорах. Б. Пастернак. 6.VIII.31». Ниже по-грузински, чуть коряво, но старательно им же представлено — «Тбилиси» (старое написание слова «Тбилиси»).

В данной надписи информации больше, чем эмоций. Она рассказывает о вечерах поэзии в доме Тициана, будь то на улице Грибоедова в Тбилиси или на даче в Коджорах, или в Окроханах. Блестящее искусство застолья, возвышавшееся до поэзии, и поэзию, звучавшую за столом, отмечали все. И. Антокольский назвал Тициана «поэтическим мэром Тифлиса». Н. Заболоцкий же писал, что именно его дом был первым приютом, в котором Грузия открывалась русским поэтам. Т. Табидзе словно удалось воскресить высокую традицию литературных салонов прошлого, которые были одновременно местом встречи русских и грузинских литераторов, своего рода пунктом пересечения двух культур. По воле судьбы квартира Т. Табидзе — этот новый культурный штаб эпохи возник ровно через 100 лет в доме, стоящем на том месте, где некогда царил литературный салон Александра Чавчавадзе.

Но вернемся к дарственной надписи на книге «Поверх барьеров». Б. Пастернак уже чувствует притяжение, но еще, разумеется, не знает, что Т. Табидзе суждено стать одной из центральных человеческих фигур в его жизни, фигур, значение которых не ослабло после смерти, но, напротив, стало частью существа и души.

Следующие из сохранившихся книг с автографами русского поэта надписаны уже Нине Александровне. Вспомним, какие теплые, можно сказать, «насущенные» узы связывали Е. Пастернака с вдовой Т. Табидзе до последних дней Бориса Леонидовича. Трудно выбрать самые яркие слова из его писем к Н. Табидзе, в которых бы сконцентрировалось осмысление роли грузинского друга в судьбе Б. Пастернака, настолько каждое слово пронизано им. Казалось бы, какое принципиальное значение могут иметь для большого художника пусть и несбычайно насыщенные, но кратковременные

встречи на протяжении всего лишь семи лет. Однако эта дружба предопределила многое и отпечаталась даже на дальнейшем стиле жизни Б. Пастернака. Пожалуй, наиболее четко русский поэт высказал это в одном из поздних писем: «Когда в редкие, почти несуществующие моменты я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвратом начнется новая жизнь и для меня, новая форма личной радости и счастья...»

В 1943 году, как только появился сборник «На ранних поездах», Пастернак надписывает его: «Ангелу Нине, бедному милому другу моему Б. Пастернак 15.VIII.43. Москва». Текст весьма лаконичен, но содержит столь глубокие чувства, что не нуждается ни в каких комментариях.

Это же касается и автографа на сборнике «Земной простор. Стихи. М., 1945» — «Нине с пожеланием счастливого приезда в Тбилиси. Мои лучшие чувства и пожелания везде с Вами всегда. Б. П. 19 авг. 1947». Можно лишь добавить, что слова «везде с Вами всегда», которые в устах иного человека могли быть лишь любезностью и столь необычные по своей простоте для всегда ассоциативно мыслящего Пастернака, в данном случае отражают самое реальное положение дел. Он действительно был всегда с Н. Табидзе в самые трудные времена, поддерживал ее морально, а подчас и материально, сам нуждаясь, тайно, чтобы у нее не было возможности отказаться, переводил Нине деньги из гонораров.

А вот более развернутая надпись на книге: В. Шекспир в переводе Б. Пастернака, т. I. Ромео и Джульетта. Король Генрих Четвертый. Гамлет, принц Датский. Л., 1949 — «Нине Александровне Табидзе, 16 авг. 1949. Дорогая Нина, это Вам на память о радости, которую доставляли нам Ваши приезды в Переделкино. Напечатанные тут работы предприятия отчасти под влиянием общего нашего горя. Оно затруднило печатание и толкнуло на путь переводов, на котором я вознагражден и обогащен знакомством с этим величайшим англичанином. И у всего этого — таинственные и близкие Вам корни».

Известно, как напряженно работал Б. Пастернак в годы войны и первые послевоенные годы над Шекспиром. Эти слова — еще один штрих к гигантскому пастернаковскому труду. Надпись перекликается с письмами тех лет, которые во многом можно рассматривать как творческий дневник и личную исповедь. Что касается слов на книге о радости

встречи с Ниной Александровной в Переделкине, то они подтверждаются настоятельностью просьб о приезде, которые звучат почти во всех посланиях. Например: «Дорогая на, зачем Вам ждать вызова от Гослитиздата, когда Вам нужен только вызов от нас, и вот он: приезжайте немедленно в Переделкино. Клубника в разгаре, Вы поможете собрать ее... Холода, наступившие после весенней жары, прошли, и только Вас недостает» (10-го июля 1958 г.).

И как счастлив бывает Б. Пастернак, когда ему удастся уговорить Н. Табидзе приехать. Даже на томике Шекспира, предназначенном в подарок кому-либо из грузинских друзей, возникает целое послание — скорее письмо, чем дарственная надпись: «Дорогая Ниночка, вот еще одно лето, благодарение богу, мы провели вместе, я еще жив и имел радость и счастье видеть Вас. До будущего лета, если это еще суждено нам! Счастливого пути, легкой счастливой зимы Вам в Тбилиси, спокойной, без болезней.

Эту книгу отдаю в Ваше распоряжение. Подарите ее, кому Вам будет дорого и у кого будет время перечесть Шекспира. Целую Вас Ваш Б. П. 14 августа 1952 г.» (на книге «Вильям Шекспир. Трагедии. Перевод Б. Пастернака». М.-Л., 1951)⁸.

Книги, надписанные Нине Табидзе, сами по себе составили целую библиотеку. Ей дарили свои произведения не только друзья мужа, знаменательно, что круг ее литературных знакомств после смерти Тициана расширился, появились новые имена, но все они так или иначе связаны с памятью и любовью к личности Т. Табидзе.

Как часто бывает: уходит из жизни выдающийся человек, и постепенно тает атмосфера его присутствия, покидает дом стиль его жизни — он все уносит с собой. Еще по инерции приходят и пишут друзья, потом это становится повинностью, потом сходит на нет. Колдовство обаяния Тициана Табидзе было так велико, а Нина Александровна оказалась другом столь поразительным, что жизнь поэта в этом доме не прервалась и семья его продолжала быть для всех центром притяжения.

Перелистаем книги 40—60-х годов, не выделяя авторов и сохраняя хронологию. Естественно, за каждой надписью

⁸ Н. Табидзе преподнесла том Шекспира близкому родственнику В. Г. Макашвили, которого хорошо знал Б. Пастернак.

целая жизнь — встречи, воспоминания, общая радость, разделенное горе...

«Дорогой Нине Александровне с постоянной искренней дружбой. С. Спасский. 2/IV.41. Тбилиси» (на книге: «Маяковский и его спутники». Л., 1940);

«Дорогой Нине Александровне Табидзе, — с надеждой часто встречаться и в Тбилиси, и в Ленинграде» («Перевал». Тбилиси, 1944);

«Дорогой Нине Табидзе в знак искреннего уважения, любви и верной дружбы. Виктор Гольцев. 26 марта 1948 г. Тбилиси» (Грузинские писатели девятнадцатого века, М., 1948);

«Дорогой Нине Александровне от искренне любящего и переводчика. Н. Заболоцкий. 11/X.49» (Григол Орбелиани. Стихотворения. С грузинского перевел Н. Заболоцкий. Л., 1949);

«Дорогой Нине Александровне Табидзе с сердечной благодарностью за память о моем отце и моей матери. Нина Тынянова. 14.IV.1957» (Ю. Тынянов. Избранные произведения. М., 1956);

«Милой Нине Александровне Табидзе из любви к ней и уважения к памяти дорогого Тициана. Илья Сельвинский. 1957» (Избранные произведения. Стихотворения и поэмы. т. I, М., 1956);

«Дорогая Нина, я хочу, чтобы кто-нибудь получил за меня пятерку, прочитав эту книгу, и чтобы ты увидела, что автор ее — уроженец Алазанской долины. Ираклий (Алаз-ниспирели, Ожиели или Андроникашвили, как тебе нравится, и Андроников, которого ты вчера чествовала), 16/XI—1958, Москва» (Рассказы литературоведа. М., 1958);

«Нина Александровна, спасибо Вам за все, особенно за то, что Вы есть Вы. Павел. 19/III.62. Тбилиси» (П. Антокольский. О Пушкине. М., 1960);

«Дорогой Нине на память о Тициане. Илья Эренбург» (Люди, годы, жизнь, М., 1961);

«Дорогой Нине Александровне Табидзе в знак глубокого уважения и симпатии. 22/IV—62. Ю. Нагибин (Друзья мои, люди. М., 1961);

«Нине Александровне Табидзе — с преклонением перед ее мужеством, силой духа, добротой сердца и обаянием — в память о знакомстве 18-го марта 1962 г. И. Оратовский. 5.V.62. Баку» (Точное время. Стихи и поэмы. М., 1960).

Многие надписи обращены к дочери Тициана Танит (Ни-

те) Табидзе. Например: «Милой Ните — вот еще одна встреча с Вашим отцом, навсегда живым для всех, кто его знает» (Ваш П. Антокольский, ноябрь 65» (Пути поэтов: Очерки. М., 1965). В книге очерков П. Антокольского большая статья о Т. Табидзе, о его поэзии и о нем: «Такую яркую фигуру не часто встретишь на белом свете. Его хотелось писать маслом на холсте, крупно вылепить из глины — увековечить по возможности эти выразительные черты...»

Когда стали издавать сборники переводов Т. Табидзе, они становились событием для переводческой жизни страны. Русские и не только русские поэты всех поколений, приезжая в Грузию и приобщаясь к ее культуре, входили в этот дом и, словно вступая в поле обаяния Тициана, включали его дом в свою жизнь и приносили дань его поэзии. Приведем всего лишь две надписи. «Достойной и геронческой подруге большого поэта — Нине Александровне Табидзе» написал свой сборник «Три песни» (М., 1957) Г. Эмин. И ниже поэт привел полный текст нового перевода на армянский язык одного из лучших стихотворений Т. Табидзе — «Ликование» — программы и лирической исповеди поэта.

В автограф на книге Беллы Ахмадулиной «Струна» (М., 1962) Тициан Табидзе вписан как живой глава семьи — «Нине Александровне Табидзе и любимой семье Табидзе с нежностью и поклоном — Белла Ахмадулина». Поэтесса не привела здесь текста своего стихотворения «Сны о Грузии», но его настроение, ощущение «нежности родины чужой» подспудно присутствует в обращении к близким Тициана.

А дарственная надпись Галины Цуриковой на ее монографии о Тициане Табидзе (Л., 1971) имеет долгую предысторию. Без Нины Александровны эта книга вообще не состоялась бы, как, возможно, и многие русские сборники Тициана, в том числе и том из большой серии «Библиотеки поэта», в подготовке которого участвовала Г. Цурикова. Она не была знакома с Т. Табидзе, но, погружившись в мир его образов, соприкоснувшись с его личностью, не смогла расстаться с поэзией Тициана, начала изучать грузинский язык

и литературу. Когда монография вышла в свет, Нины Александровны, подготовившей все фактические материалы для литературоведа, уже не было в живых, и книга посвящена ее памяти.

В 1974 г. Г. Цурикова прислала один из экземпляров этой книги в незадолго до этого созданный Музей дружбы народов. Под словами «Памяти Нины Александровны Табидзе» надпись: «Не могу без Тбилиси! — как сказал один русский поэт. Это чувство меня побудило к созданию книги о Тициане Табидзе, чье сердце и творчество дорого моим современникам. Помогли мне его родные, друзья, земляки. Рассказывали о жизни поэта, о времени и о грузинских обычаях. Приучили к звучанию речи — поэтической и живой. Раскрыли своеобразное обаяние грузинской души. Работа была как счастье взаимной любви. Сакартвело — спасибо! 9/VI-74. Г. Цурикова».

Мы привели лишь небольшую по объему часть надписей на книгах, подаренных Тициану Табидзе и его семье. Даже одна такая коллекция оживляет моменты тесных связей литераторов на протяжении более чем сорока лет. К сожалению, мы не имели здесь возможности привести «перекрестные» обращения — автографы Т. Табидзе на книгах, написанных друзьям. Тем не менее его облик восстает в любом посвящении столь же четко, как и индивидуальность автора, дарителя той или иной книги.



Циური ХЕТЕРЕЛИ

ПАТАРДЗЕУЛИ,РОДИМЫЙ ОЧАГ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

П ОЗДНЯЯ осень 1966 года. По сельскому проселку идет очень старая женщина, одетая во все черное. Это жительница Патардзеули Анна Окросцваридзе. В ответ на наш вопрос, как пройти к дому поэта, глаза старухи наполнились слезами, она свернула к дому Леонидзе и печально сказала:

— Эх, доченька, большого человека мы потеряли! Всякий раз, как Гогла приезжал сюда, собирал он нас, ровесниц его матери. Любил потолковать с нами. Вспоминал хлеб, который пекла мать. А у каждой из нас в отдельности спрашивал, у кого в чем нужда, подарки привозил, да все приговаривал: «Мать-то уважить не успел, для нее бы хоть что-нибудь сделать!».

В позапрошлом году приехал сюда, собрал всех окрестных старух, потолковал с нами и дал поручение: к юбилею Шота выучить строфы из «Витязя в барсовой шкуре», повезу вас, говорит, в Тбилиси на юбилей. А потом попросил надеть головные уборы, как мать его любила носить, и сфотографировался вместе с нами, — отрывисто, с болью в голосе говорит старуха. Беседуя, мы подходим к обнесенному плетнем двору. С балконного столба, словно приглашая нас войти, глядит из большой рамы портрет поэта. Вокруг царит молчание.

У окна — круглый столик, накрытый скатертью, на кото-

рой изображены грузинские писатели. Женщина подходит к столу, осторожно дотрагивается до этой скатерти и говорит: «Когда узнали мы, что Гогла умер, собрались тут все женщины деревни и плачем над этой скатертью». Должно же вспоминала она частые приезды поэта в Патардзеули, вспоминала его мать — Софио Гулишавили, человека удивительной мягкости и доброты, вспоминала многочисленных братьев и сестер, счастливые дни этой большой семьи...

1 сентября 1966 года патардзеульская школа отмечала столетие своего существования, готовились к большому празднику. Об этом беседовали и с Леонидзе, у него были материалы по истории школы. Он говорил, что собирается принять участие в празднике, ознакомить с этими материалами патардзеульскую молодежь и школьников.

И какой же болью было наполнено утро 1 сентября в патардзеульской средней школе! В школьном дворе не звучал веселый детский смех. Ученики тихо входили во двор и так же молча разбредались по своим классам.

Лучи солнца, проникавшие в окна, щедро ласкали портрет любимого поэта, и казалось, что глаза его с еще большим теплом и нежностью следят за малышами.

Вот что писали школьники в посвященной поэту стенной газете:

«Его больше нет с нами. Как горько сознавать, что патардзеульцы лишились своей гордости, своей любви, своего «дяди Гоглы»!

Скорбит мать-Патардзеули, нашего земляка оплакивает вся Грузия, вся Советская страна, но самое большое горе переживает все-таки Патардзеули, село, в котором он родился и вырос.

Наш знаменитый односельчанин ушел от нас как светлый мастер, исполнивший свой долг. Он был нашей радостью, символом наших трудов и забот. Мы гордились им, его поэзией, его именем.

Подле убранного дубовыми листьями гроба поэта мы дали слово быть похожими на него в любви к Родине, в служении и верности ей».

В газете было помещено выступление Като Гулишавили: «Плоть и кровь наша, наша гордость и радость, неужто навсегда ушел ты от нас, сынок?! Ты, у которого за всех болела душа, готовый помочь всем и каждому, ты должен жить!».

Меня здесь любят все и вся,
как истинного сына родной земли:
я целую красную виноградную гроздь,
зарываюсь в колосья...
...Войду в калитку... Мне навстречу бросятся,
как цыплята, дни моего детства;
всеми веточками обнимут меня,
всеми листьями — деревья во дворе...

(Подстрочный перевод).

Так вспоминал он в последние годы жизни свою «воспитательницу и кормилицу», «весну души», «исток стиха» — родное Патардзеули. «Мой сад» — так назвал он «свод» этих воспоминаний. И скорбь по себе он представлял вот как:

Однажды свихнется Иори,
Слетятся облака, чтобы плакать.
Грушевое дерево застучится ветвями в окошко,
Льдом покроются свирели,
Двор наполнится плачем, слезами,
Умолкнут пандури...

(Подстрочный перевод).

Несколько дней провела я перед Новым годом, в конце декабря 1966 года, в родном селе поэта, и была свидетельницей, как оплакивало Патардзеули того, кто первым поздравлял односельчан с Новым годом, слушала задушевные беседы кахетинцев, вдохновленные его стихами, тосты, исполненные неторопливого кахетинского достоинства...

Вечно неугомонным, беспокойным помнят его собеседники, друзья, близкие, которые с любовью рассказывают нам о нем...

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

— Любили мы с ним на Иори запруды делать, иной раз, бывало, вымажется в грязи с ног до головы, — рассказывает Иосиф Зукакишвили. — Гогла был года на три-четыре старше меня. Мы с ним словно братья были. И в доме у нас его своим считали, любили, когда он приходил в гости.

Гогла с детства отличался большой любезностью. Бывало, около Биланишвили грязь стоит непролазная, так он про-

хожих на себе переносил. Ему тогда было лет 15—16. Провожжие иной раз спрашивали: «Стоит там сын священника или нет?».

— Остались они без кормильца, трудно приходилось, сами вынуждены были все делать. Гогла ходил за плугом, он тогда учился в гимназии. В Чинчриановом поле у них и постель с собой была, недели по две там и ночевали, а возвращались со сбитыми в кровь пятками. Пицхелаури очень жалели Гоглу, говорили ему — ты, мол, только учись, а поле обрабатывать мы поможем.

Село всегда радовалось приездам Гоглы, старалось достойно встретить его.

На Иори у них был виноградник. Во время сбора урожая, когда мы шли туда, Гогла каждое деревце обнимал и целовал. Как-то мы спросили его, зачем он это делает, так он ответил: «Эти деревья сажала моя мать, и мне кажется, будто с нею привелось свидеться».

Гогла часто приезжал в деревню на сбор винограда. Доехав до села, вылезал из машины и шел пешком по проселку, весело подходил к нам и говорил: «Хочу пройтись по деревне, всех повидать». Стоило ему появиться, как в селе поднялся шум, люди высыпали на улицу.

Стол накрывать надо было у винного чана, Гогла любил пить вино из кувшина: «Нравится, — говорил, — мне пить из горлышка, по-крестьянски». Готовили ему кушанья, которые он любил. Бывало, станет на колени у чана и сам достает оттуда вино.

В Тбилиси уезжал неохотно, все приговаривал: «Хоть бы день подоле протянулся, подоле бы солнышко не заходило».

Он очень уважал нашу семью, говорил: «Очень мне радостно, что у вас такая хорошая крестьянская семья, приятно глядеть на ваши натруженные руки, приятно, что ты такой почет заслужил», — это он мне говорил (Иосиф Зукакишвили награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями).

Одно только не нравилось ему в деревне — это когда он видел у проселка молодых людей, стоящих без дела. Как увидит, обязательно скажет им: «Не стойте тут — без дела, я же привез вам книги в библиотеку, так читайте же, учитесь, не теряйте зря времени!»



— Мы с Гоглой ровесники. Вместе нас привели в сельскую школу и за одну парту посадили, — у нас тут четвереклассная школа была. Надо было пройти четыре отделения, а дальше начинались классы. — вспоминает Васо Пичхелаури. — Через месяц после начала учебы учительница Вера Биланишвили спросила нас, кто из учеников умеет читать. Мы все оробели, никто не решался встать. Поднял руку Гогла. Мы даже не знали, как он читает. Учительница дала ему совсем незнакомую книгу, мы эту книгу прежде не видели.

Гогла встал и начал быстро, бегло читать, все единым духом, не поймешь, где запятая, а где точка. Учительница остановила его, улыбнулась. «Молодец! — говорит. — Только в ином месте и остановиться надо, чтобы смысл был». И объяснила нам всем, как надо правильно читать.

Гогле тогда и восьми лет не было. Среди деревенских ребят он особенно выделялся своей смышленностью, способностями, учебой, поведением. Был он крепкий, кровь с молоком, волосы светлые, синие глаза. Коренастый, сильный, однако чтобы шалил или дрался — такого не припомню, спокойный был мальчонка...

• Играл Гогла редко. Вечно с книгой в руках, вечно погружен в чтение. Даже когда он принимал участие в наших играх, и тогда не расставался с книгой. Усядется где-нибудь поблизости и читает. Помню, играли мы как-то в «салки». Гогла сидел на перекладине ворот и, оказываясь, наблюдал за нами. Один из ребят все никак не мог попасть в «салку» своим камнем. «В салку кто не попадет, не поедет в город тот», — неожиданно проговорил Гогла.

Играли мы и в «лахтаоба». Во время игры снимали пояс. Один пояс лежал внутри круга, так, что кончик его должен был находиться на линии. Над поясом стоял его хозяин и смотрел, чтобы никто не схватил пояс. Снаружи его обступали пятеро. Надо было так схватить пояс, чтобы не ступить ногой внутрь круга.

Гогла больше любил игру «арипана». В нее мы обычно играли весной. Приносили из дому кто что мог и устраивали детскую пирушку.

И правда, в воспоминаниях о своем детстве поэт интересно описывает эту игру, называя ее «братским застольем», «праздником цветов», «детским пиром», и уже в пожилом возрасте, вспоминая те счастливые весенние дни, он с сожа-

лением замечает: «Я, старый участник «арипана», часто думаю, почему бы нам не учить этой игре наших детей? Ведь это древний грузинский обычай, праздник природы, который справляют дети».

* * *

Мы с Гоглой часто рыбачили на Иори. Однажды я, Гогла и Вано Сасцрапошвили отправились на реку. Запрудили один рукав Иори, долго мучились, укладывали камни, чтобы рыба не уплыла. Еле-еле поймали три рыбешки. Одна была большая, две — маленькие. А вот как их поделить, мы не знали.

— Бросим жребий, — предложил Гогла. Ему-то и досталась большая рыба. Вано стал ворчать — он-де больше всех потрудился.

— Ты прав, — сказал ему Гогла. — Ты самый старший, тебе и положена самая большая рыба.

Так он успокоил обиженного товарища, и мы отправились домой, пожарили свою добычу и славно провели время.

Ничего так не любил Гогла, как бывать на природе, в поле, на лугу, в винограднике, однако самым любимым местом его была Иори.

Да и сам поэт с ностальгической тоскою, мечтательно вспоминает дни, проведенные на берегу Иори, и говорит:

«Вторая мать моя Иори!

Как любил я ее брызжащие алмазными искрами, отливающие радугой волны — вечно трепещущие, как крылья жаворонка, полные ласки и веселья!

И сейчас стоит мне увидеть Иори — и сразу учащенно забьется сердце.

По-прежнему у Иори ищу я утоление моей жажды!..

Хороши были рыбалки на Иори! А какая ловилась рыба — усач, жерех, сазан... Любил я рыбную ловлю и ловил вместе с товарищами по-всякому: на удочку, сетью, багром или, перекрыв боковой проток и дав стечь воде, руками среди камней русла»¹.

* * *

Патардзеульский пасечник рассказал следующий эпизод, связанный с поэтом: посреди поля, которое обрабатывала семья Гоглы, стояла большая шелковица. Дерево было ста-

¹ Перевод Э. Ананишвили.

рое, дуплистое, и Гогла заметил, что из дупла часто вылетают птицы. Он и говорит мне:

— Из дупла вылетела птица, не иначе у них там гнездо. Давай, ты нагнись, подставь мне спину, а я влезу и займю туда.

Подшли мы к дереву, я пригнулся. Гогла влез мне на спину и достал из гнезда двух птенцов.

Отправились мы обратно. Вдруг Гогла остановился, затем снова подвел меня к дереву.

— Пригнись, — говорит, — еще разок, я снова влезу.

— Зачем? — спрашиваю.

— Надо посадить птенцов обратно в гнездо, жалко, мать прилетит, не найдет в гнезде своих птенцов, плакать станет, — ответил Гогла.

Словом, вернулись мы к дереву и как достали из гнезда птенцов, так и обратно их посадили.

* * *

Стоял июль. Сико, старший брат Гоглы, сказал нам:

— Пойдем нынче в поле, время жатвы наступило.

Отправились втроем. Взяли с собой серпы... Сико взял одну полосу, мы с Гоглой — другую. Сико опередил нас метра на три-четыре. Мы старались вовсю, не хотели, чтобы Сико превзошел нас в работе. Второпях порезал я серпом палец. Гогла тут же бросился ко мне, оторвал лоскут от своей рубахи и перевязал мне ранку. Кончили мы жать. О руке-то порезанной я не печалился, больше о том думал, что дома мать на Гоглу рассердится. Гогла знал характер своей матери и успокаивал меня — не бойся, говорит, не будет мать сердиться. И впрямь, очень спокойная, добрая была она женщина, ни разу я не слыхал, чтобы она бранилась или просто голос повысила. И на этот раз она, узнав, в чем дело, забеспокойлась, но поступок сына ей понравился, похвалила его — молодец, мол, что не растерялся и перевязал ранку товарищу.

* * *

Четыре года тому назад был у меня в гостях Гогла с товарищами. С ним приехали двое молодых поэтов. Гогла сказал мне — хочу, мол, прийти к тебе. Я ему в шутку отвечаю: «Не шутейный оборот, коли знатный гость идет, даже пригласить вас не решаюсь, вдруг не сумею достойно принять». Пришли они ко мне. Началось застолье.

— Вино домашнее? — спросил Гогла и добавил: — Люблю я домашнее вино, особенно патардзеульское.

Славно попиروвали мы в тот раз. Гогла был ^{очень} доволен, чувствовал себя совершенно счастливым.

А в последний раз я видел его весной 1966 года, когда он привозил гостей с Украины, чтобы показать им Патардзеули. Гогла познакомил меня с поэтом Василием Федоровым, сказал ему про меня — это, мол, наш пасечник. Федоров обрадовался — хорошо, говорит, иметь дело с природой.

За столом я сидел рядом с Гоглой. Спрашиваю его: хочу, говорю, прочесть этому русскому поэту одно стихотворение, ты не возражаешь? Или, может, неловко?..

— Читай, — говорит Гогла, я и прочел Федорову вот эти стихи:

Пусть вечно жизнь тебя ласкает,
Как мать любимое дитя,
Пусть сердце горя не узнает,
Не унывай, живи шутя.
Резвись, как птичка на престоле,
Пока неведома судьба,
А в будущем, быть может, горе
И не коснется до тебя.

Федорову это понравилось, он от души поблагодарил меня, а остальные в ответ захлопали в ладоши.

СИНЯЯ ФИАЛКА

А сейчас послушаем Мелитона Асраташвили:

— Гогле было года три-четыре, когда меня привели на заработок в их семью. Их было трое братьев и две сестры. Мать, Софио Гулисашвили, была женщина очень спокойная, мягкая, добрая. Гулисашвили — все такие, их и сейчас еще с большим уважением вспоминают в деревне. У меня родители были, мог я пойти домой помыться, постирать одежду, однако Софио меня не пускала — за своими, говорит, смотрю, так и за тобой присмотрю как-нибудь. Случалось мне по три дня не возвращаться к ним в дом, так моя порция всегда лежала накрытая, в целости, никто к ней не притрагивался. Я был скорее хозяином, чем батраком, дети меня за старшего брата считали, слушались во всем. Бывало, велю им отвести быков на водопой или повозку разгрузить, так они все



сделают, а я тем временем работаю. Софию тоже мне помо-
гала, хоть и попадья была, а работой не гнушалась, и вооб-
ще они жили просто, по-крестьянски.

Братья и сестры друг в дружке души не чаяли. В доме
у них всегда было веселье, гости приходили, что ни день.

В детстве Гогла бледный был, белощекий, светловоло-
сый, в мать. А глаза — синие, его, бывало, так и звали —
«синяя фиалка!», «синяя фиалка!». Я любил с ним возиться,
часто брал его на руки. Когда он плакал, Софию говорила
мне:

— Ну-ка, расскажи ему какую-нибудь сказку, может
успокоится, — я и начинал рассказывать. Гогла тут же пре-
кращал плакать и очень внимательно слушал.

Особенно любил он сказку о трех братьях:

«Жили-были три брата. Было у них три быка. Отправи-
лись они в Тбилиси, повезли дрова продавать. Когда добра-
лись до Лочины, легли спать. Просыпаются — нет нигде бы-
ков.

Братья были догадливые.

Встали они и поспешили в Тбилиси.

Один брат говорит: — Смотрите, перс!

Второй говорит: — Если перс, значит его зовут Али.

Третий: — Раз его зовут Али, значит он и украл быков.

Набросились они на этого перса.

— Не убивайте меня. — взмолился басурман, — отведи-
те лучше в суд.

Пошли они к судье.

Узнав, в чем дело, судья спрашивает братьев:

— Почему вы решили, что этот человек украл ваших
быков?

Братья отвечают:

— Этот человек — перс.

Второй говорит: — Если он перс, значит его зовут Али!

Третий: — Раз его зовут Али, значит он и украл быков.

— Ладно, ступайте, — говорит судья.

Была у судьи айвовая ветка, достал он эту ветку и гово-
рит братьям:

— Ну-ка, угадайте, что это такое.

— Кончик дерева, — отвечает первый брат.

— Если кончик дерева, значит это айва, — говорит вто-
рой.

— Если и вправду это прут айвовый, значит из быков наших Али похлебку себе готовит, — прибавил третий.

Понравилась судье сметливость братьев, и два быков. Взяли братья быков и весело погнажи их домой».

Когда сказка кончалась, Гогла никогда не просил рассказать еще — успокоившись, он задумывался...

Читать и писать Гогла выучился очень рано. Четырех-пятiletний, он уже свободно читал, любил рисовать. Вечно возился с бумагой, ни на что другое и внимания не обращал.

Когда уставал читать сидя, становился на колени и читал в таком положении.

— Иди сюда, Мито, иди сюда, послушай, — часто звал он меня, но у меня душа не очень-то лежала к книжкам.

И еще он очень любил слушать пение птиц.

Я часто брал с собою Гоглу в дом Чигаурашвили. Там устраивали спектакли. Гогла был сначала зрителем, а когда подрос, то и сам принимал участие в этих представлениях.

Гогла был чудесным малышом, открытым, добрым, любознательным. Я не слыхал ни разу, чтобы он ссорился с товарищами, дрался, дулся или озорничал.

У Леонидзе был на Иори виноградник. Лоза вилась над самым берегом реки, там, где прежде жила Маико, тетка Гоглы. Сейчас там Кикнадзе живут. Был у них еще один виноградник, наверху, мы там пшеницу тоже сеяли. Летом, во время каникул, когда Гогла был свободен, я брал его с собой на Иори, в Ахалсопели, что в Сагобской пойме.

Когда отмечали 60-летний юбилей Гоглы, я приехал в Тбилиси, привез ему вино из Ниноцминда. Был поздний вечер, дом был полон народу, шел пир горой. Гогла очень обрадовался моему приезду. Мы с ним засиделись далеко за полночь, беседовали.

— Я совсем не помню себя маленьким, Расскажи мне что-нибудь про это, — попросил Гогла. — Как звали нашего быка, корову?

— Быка — Марула, корову — Тебрале, — отвечал я, рассказывал и про то, как назывались поля в округе — Дидаура, Бенаани, Дреидзе, Тагочаура...

Гогла с удовольствием повторял эти названия, вспоминал детство, радовался этим воспоминаниям.

Жизнь победила смерть — так говорят, слава героев, в прекрасном рассказе Георгия Леонидзе «Чествование доблестных».

— Нет, не будет никогда в рабстве жизнь у смерти!

сказал поэт.

Никогда не переведутся гости у родного очага поэта,
Патардзеули.

* * *

— Однажды наша учительница Элисо Ианкошвили повела нас, учеников, к Георгию Леонидзе, который тогда приехал в Патардзеули. Я в то время училась в пятом классе, — вспоминает Тамар Хурошвили, директор патардзеульской средней школы. — Как только мы вошли во двор, учительница позвала друга своего детства: «Гогла, выйди, погляди, кого я к тебе привела!». Поэт охотно вышел нам навстречу, принялся расспрашивать каждого из нас, кто чей сын или чья дочь. Потом учительница велела нам прочесть стихи поэта. Когда очередь дошла до меня, он подошел ко мне и весело спросил:

— Ты дочка Гвითии Хурошвили?

Моего отца зовут Соломон, но Георгий Леонидзе называл его Гвითией, да и ко мне потом иначе и не обращался.

Решили мы однажды устроить в Патардзеули день поэзии. Провели этот «день поэзии» во дворе у Георгия Леонидзе. Поэт узнал об этом из районной газеты и был очень доволен. При встрече он удовлетворенно сказал мне:

— Очень ты меня этим уважила, очень порадовала, связав день поэзии с двором Георгия Леонидзе.

* * *

Георгий Леонидзе очень радовался каждому новому достижению родного Патардзеули.

В 1949 году, когда Патардзеули праздновало открытие электростанции, наш поэт приехал в родное село. Он с энтузиазмом приветствовал это большое событие и даже посвятил такой знаменательной дате стихотворение «Ток включен!». Это стихотворение поэт написал, сидя на подоконнике в кабинете председателя колхоза Шота Унапкошвили.

В стихотворении с большой радостью и волнением говорится о приходе в Патардзеули электричества, которое поэт называет «золотым лебедем». Это событие радовало его еще и потому, что электрический свет становился как бы символом просвещения родного народа:

Свет горит!

Электричество всюду включили.

Мальчик садится

За книгу Гогешашвили:

«Дэда-эна», «Родное слово» —

Вот оно, перед нами.

Первая страница

Озарена лучами.



(Перевод Л. Мартынова).

* * *

Как-то я читала своему престарелому отцу напечатанное в «Литературной газете» стихотворение Георгия Леонидзе «Миндаль». Отец сказал: «Он пишет о миндале, а ведь у них во дворе никогда не было миндального дерева. Посади там миндаль, Гогла обрадуется».

На другой же день я выкопала в нашем дворе миндальное дерево и посадила его во дворе Леонидзе. И даже стихотворение написала — «Миндаль». В одну из встреч прочла его поэту. Ему понравилось это стихотворение, и, уезжая, он взял его с собой. Оказывается, позже он читал его своим друзьям и говорил: «Вот что рождают мои стихи в моем народе!».

* * *

Однажды в Патардзеули, когда Леонидзе с сестрой Анной сидел на балконе своего дома, во двор вошла пожилая женщина. Она с большой радостью встретила с поэтом, которого, оказывается, вскормила грудью. «Сынок, — сказала она, и глаза ее наполнились слезами, — ты вскормлен моим молоком!».

На другой день поэт читал сестре новое стихотворение — «Кормилица», говоря при этом: на эти стихи меня вдохновила невестка Зукакишвили, Анна. Эта Анна Зукакишвили была матерью Шахро Гулиашвили, а Шахро Гулиашвили был ближайшим другом Леонидзе, самым любимым и дорогим ему человеком в селе, а также прототипом главного персонажа его великолепного рассказа «Тамада».

Какой любовью, каким искренним чувством проникнуть эти строки: «Куплю тебе платье и пестрый платок, и шаль кашемировую с гагатовыми блестками, но где, кормилица, найти мне золотую ткань, достойную тебя!».

Современники — односельчане поэта не случайно узна-



ют в его «воспоминаниях о детстве» изображенных там людей. Сами сельчане дали прозвище «Гвинджуа» его ближайшему соседу Шахро Гулиашвили, который «во всей округе славился благодаря своему крестьянскому красноречию». Тамар Хурошвили утверждает, что многие патардзеульцы узнают в Цицикорэ — «старейшине, предводителе и законодатель села» — Цицикорэ Парунашвили, который пользовался в народе огромным авторитетом.

* * *

Приезжая в село, поэт бывал частым гостем у нас в доме. Однажды он пришел к нам вместе со своим внуком. Малышу очень понравились каламани и пестрые шерстяные носки, которые носят у нас в деревне, и он настойчиво упрасивал деда: «Я тоже хочу такие туфли и носки!». Я была в ту пору пионервсжатой и от имени патардзеульской школы послала поэту к Новому году маленькие каламани и пестрые вязаные носки. Этот новогодний подарок был воспринят в семье с большой радостью, и не раз потом при встрече поэт вспоминал о нем.

* * *

• Это было приблизительно в 1948-49 годах. В доме поэта жили молодые педагоги Нино Устиашвили и Маро Меишариани. Георгий Леонидзе подробно описал им, как выглядело внутреннее убранство дома при жизни его матери. Учительницы хорошо запомнили его рассказ и убрали комнаты в точном соответствии с ним.

Приехав в село, поэт увидел свой дом и горячо благодарил молодых педагогов за огромное удовольствие, которое они ему доставили.

* * *

— В честь 1500-летия Тбилиси в Сагареджо посадили дуб. Под сенью этого дуба жители Сагареджо накрыли стол. Вместе с Георгием Леонидзе присхали Микола Бажан, Алексей Сурков и другие. Гости были очарованы прекрасной природой Кахетии, широким кахетинским гостеприимством; особенно же поразила их великая любовь кахетинцев к Георгию Леонидзе, которую гости ощущали во всем, — рассказывает директор сагареджской районной средней школы Маро Меишариани.

Украинские гости привезли нам в подарок бюст Тараса

Шевченко. Они с увлечением говорили о поэзии, о дружбе грузинского и украинского народов, о грузинской литературе. Много говорили и о творчестве Георгия Леонидзе. Гости называли его «королем поэзии» и отметили, что его очень любят на Украине — и читатели, и писатели, однако особенной, необыкновенной любовью пользуется он здесь, в своем родном краю.

Поэту часто устраивали встречи в родном Патардзеули, ему нередко случалось бывать здесь и в качестве гостя, и в качестве хозяина. С особой любовью к нему относились дети, учащаяся молодежь. Они пели поэту песни на его собственные стихи. Ему очень нравилось слушать песни «Где пройдет опять к закату...», «Не тревожься, матушка». Помню, когда пионервожатый Нукрия Кушиташвили пел: «Родина моя прекрасная, дай мне заслонить тебя», несколько раз заставлял его поэт повторять эти слова и все просил — пой громче, пусть все Патардзеули слышит!

Однажды весной поэт привез в подарок нашей библиотеке книги. Он остался доволен нашим сердечным приемом. С ним вместе были поэты и писатели Карло Каладзе, Кукури Гогнашвили, Георгий Шатберашвили, Александр Кутатели. Леонидзе захотелось пройтись пешком: «Когда я касаюсь ногой этой земли, мною овладевает необыкновенное, радостное чувство», — говорил он. С любовью глядел он на утопающие в зелени кахетинские окрестности, деревенские улочки, колышущиеся от ветра цветущие поля. С тоской вспоминал проведенное здесь детство.

* * *

— В 1964 году в селе Патардзеули устраивали сессию по вопросам благоустройства села. По поручению председателя исполкома я повидал в Тбилиси нашего поэта и попросил его принять участие в сессии, помочь нам своими советами. Он с удовольствием откликнулся на наше предложение, однако посетовал на то, что не сможет выбраться в Патардзеули, чтобы лично участвовать в работе сессии.

Гогла попросил меня детально ознакомить его с содержанием этой работы. Один из вопросов касался строительства оград в селе. Гогла сказал, что говорить об оградах не время; лучше будет, если в селе по-прежнему будут плетни, такие, каким обнесен дом Леонидзе. Село, сказал он, должно сохранить свой облик, свою красоту. Поэтому мы, идя навст-

речу желанию поэта, не стали менять плетни, оставили их в первозданном виде.

Дом, где сейчас помещается сельсовет, принадлежит Маико, тетке поэта. Гогла попросил сохранить его, не ломать, а устроить в нем библиотеку. Мы и в этом пошли ему навстречу и сейчас строим другое помещение для сельсовета и сельскохозяйственной конторы, а дом Маико отдадим под библиотеку.

Об этом нам рассказал Арчил Гулиашвили.

* * *

Анжела Мгебришвили, директор ниноцминдской средней школы, рассказывает:

Весной 1966 года трудящиеся Сагареджо устроили встречу с поэтом. Жители Патардзеули и Ниноцминда с любовью и гордостью проводили Г. Леонидзе до районного центра.

Встреча проходила так. Перед школой я выстроила учащихся с цветами. Каждый ученик должен был прочитать строфу из стихотворений поэта.

После приветственного слова один из учеников начал читать стихотворение. Когда он умолк и поэт, решив, что чтение стихов на этом закончилось, сделал шаг, чтобы идти дальше, начал читать другой. Поэт шагнул вперед — эстафету принял третий, за ним — следующий... Когда Леонидзе понял, что чтение стихов не прекращается, он с нежностью посмотрел на детей, на лице его появилась счастливая улыбка и, хотя подобные встречи были ему привычны, он вдохновенно произнес: «Слава богу, я иду вперед своими стихами!».

«Два месяца тому назад, — писала газета «Коммунисти» весной 1966 года, — народный поэт Грузии Георгий Леонидзе получил с Украины небольшое письмо, подписанное председателем колхоза имени Тараса Шевченко села Покровское Артемовского района Донецкой области Г. Астраханцевым, а также секретарями партийной, комсомольской и профсоюзной организаций колхоза. Украинские колхозники решили избрать грузинского поэта почетным членом своей артели и просили его согласия на это. Они писали: «Наш колхоз носит имя великого украинского поэта Тараса Шевченко. Его поэзия бессмертна. Мы считаем Вас прямым преемником батеньки Тараса и его ближайшим другом...» (Газета «Коммунисти», 4 мая 1966 г.).

«Дорогие друзья! — огкликнулся поэт. — Я с большой радостью узнал о том, что вы решили избрать меня почетным колхозником сельскохозяйственной артели имени Тараса Шевченко. Примите мою глубочайшую благодарность за оказанную мне вами честь. Да, великий kobзaрь, воспевший чаяния и стремления своего народа, является прямым родственником и другом всех поэтов, воспевających свой народ. Поэтому мне особенно радостно быть избранным в члены артели имени Шевченко... Еще раз сердечно благодарю вас за это. Крепко всех вас обнимаю.

Хай живе — да здравствует дружба Грузии и Украины!».

Украинские колхозники приезжали в гости к Георгию Леонидзе, который принимал почетных гостей сначала в Сагареджо, а затем в Ниноцминда, в родных пенатах.

...Так возник фундамент дружбы между колхозниками села Покровское и Сагареджо, которая впредь будет крепнуть и развиваться», — отмечала газета.

По этому поводу тогдашний директор патардзеульской средней школы Марат Пятиуришвили рассказывает следующую историю:

— Весной 1966 года, когда колхозники Донецкой области избрали Георгия Леонидзе своим почетным членом, украинцы приехали к нему в Тбилиси. Поэт привез их и в Патардзеули. Из почетных гостей я запомнил Гулбанова и Дмитрия Косарика. Несмотря на то, что день был довольно прохладный, гости предпочли сидеть на земле и развлекаться по-крестьянски. Прямо во дворе жарили шашлыки. Гогла сам их жарил и потчевал гостей.

Когда прежде в Грузию приезжал Михаил Шолохов, Леонидзе привез его в Кахетию, дал писателю в руки лопату и сказал:

— Земля у нас благодатная, где ни ударишь лопатой, отовсюду вино бьет!

Мы знали, что Гогла должен приехать, и по инициативе колхоза зарыли во дворе у поэта чан с вином. Но сделали это тайком, так, что Леонидзе и сам не знал об этом.

Шолохов взял лопату, копнул раз, другой — и, наткнувшись на полный чан вина, не мог скрыть своего изумления: «Такого мне еще видеть не приходилось! Как это вы храните здесь вино!». Леонидзе нагнулся и сам принялся доставать вино из чана.

И на этот раз Гогла решил устроить подобный сюрприз украинским гостям. Это вызвало бурное веселье. Восторгу гостей не было предела, они горячо благодарили нас за теплую, радушную встречу. Застолье было украшено поэтическим красноречием и неистощимым остроумием Леонидзе.

ФРЕСКИ ГАРЕДЖИ

Ниоцминда, Некреси, Гареджи, Икалто, Греми, Алаверди, Бодбе... Задумчиво шагал он по кахетинской земле, покрытой церквями, храмами, монастырями. Еще в детстве он глубоко изучил историческое прошлое своей земли.

«Грузинский народ задолго до Христа начал свою общественную жизнь, еще тогда вступил он в хоровод культурных наций...

Пройдите по Грузии, поглядите на следы жизни наших предков, которые сейчас пребывают в забвении, и перед вами явственно предстанет эта картина. Вы непременно будете поражены этими гордыми строениями, хотя и наполовину срубленными с землею неутомимым временем, их прекрасной архитектурой, великим искусством строителей твердынь и монастырей... Сколь о многом расскажут вам эти развалины! Они с тоскою повествуют о том, «как возвысилась Грузия и как она пала!» — пишет он в обзорной статье (газета «Темп», 1914 г., № 169).

Безоглядно влюбленный в очаги грузинской культуры, поэт называет Кахетию «высеченным на камне орнаментом»:

Там в серебряном тумане
Край родимый, как орнамент,
Будто высечен на камне,
Возникает перед нами.

(«Кахетия», перевод А. Гатова).

Геронтий Кикодзе писал о цикле стихотворений Георгия Леонидзе «Картлис цховреба»: «На читателя всегда оказывают глубокое воздействие исполненные стихийного темперамента патриотические стихи Леонидзе, в которых слышится боевой клич всадников и звон оружия». «Тот, кто желает изучать историко-литературные проблемы грузинского прошло-

го, XVII и XVIII веков, не сможет пройти мимо чрезвычайно значительных сочинений Леонидзе», — отмечал, касаясь следований поэта, академик Акакий Шанидзе.

В 1916 году в статье «Мцхетоба», подписанной еще «Гогла Леонидзе», поэт с сожалением писал: «Первое октября — великий день наших святынь и истории, праздник грузинского храма, но, быть может, никогда он не был столь значительным и горестным, как вчера..»

Вчера мы еще раз убедились в том, что наша родина идет по пути вырождения..

Что представляла собою «Мцхетоба»? В фаэтоне, с зурначами, люди объезжают вокруг собора. Плачет зурна, повсюду стоит галдеж.

Где же родные грузинские песни? Где наши танцы, игры, грузинская борьба, джигитовка или скачки?..» (Газета «Сакартвело», 1916, № 219).

«Ты возвращаешь мне из памяти ту боль,
что затаилась в осиротевшем Сагурамо,
и каждый день, каждый вечер
разворачивается «Мцхетоба» с шарманками», —

так обращается к поэту в своем стихотворении «Георгию Леонидзе» Паоло Яшвили. Быть может, эти строки — отклик на его горькие заметки?..

Этот разговор состоялся в Союзе писателей Грузии, в кабинете Леонидзе. Он, будучи первым председателем постоянной комиссии по охране природы при Верховном Совете Грузинской ССР, говорил по телефону секретарю Мцхетского райкома партии:

«Недалеко от ЗАГЭСа есть башня, ее называют Мухатгвердской башней, так ее фундамент повредили какие-то случайные прохожие. Сама по себе башня ничего особенного не представляет, но около нее убили Арсена, а кроме того, она интересна тем, что ее зарисовал Лермонтов». (Журнал «Дроша», 1953, № 2).

В связи с годовщиной смерти Георгия Леонидзе Константинэ Гамсахурдиа вспомнил Эмиля Верхарна. Возможно, это произошло потому, что, как отмечала газета «Ахали квали» (1916, № 31), «В творчестве Верхарна нашла свое ото-

151935340
882-1110333

бражение как патриархальная деревня во всей многоцветности своего быта, так и бурлящий волшебными машинами современный город. Целая эпоха отражена в творчестве Верхарна. Он, словно гигант, возвышается среди современников и мановением руки вызывает в своей художественной фантазии пестрые картины мира, внушая читателям то нежность и доброту, то отвращение и ненависть, кружа их в чудовищном вихре бушующей, как море, жизни».

Как применимы эти слова и по отношению к богатейшему творчеству Георгия Леонидзе!

Я ИОРИ СИЛОЙ ПОЛОН, МОЛОДОСТЬЮ АЛАЗАНИ

Здесь мечты и души устремленья,
Словно шелк дорогой, шелестят...

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

Детские впечатления и переживания развили в нем качества, редкие в зрелом возрасте, и в его глубоком, проникновенном лиризме часто звучат эти отголоски детства и отрочества. В них явственно виден его поэтический, необычайно интересный эмоциональный мир, постоянное влечение к народной мудрости, пьянящий аромат земли и полевых цветов..

— Люблю я деревенский запах, люблю запах травы, — часто говорил поэт.

Я возвращаюсь из полей
с полною шапкой цветов,
обнимая солнечные колосья,
я склоняю колени перед лозою!
Я возвращаюсь из полей,
прижимая к груди колосья,
и во весь голос пою
дерево, траву, огонь, ветер!

(«Я возвращаюсь из полей», подстрочный перевод).

В этих прекрасных поэтических строках мы видим не только владение словом, но и самого поэта, словно изображенного на холсте рукою искусного живописца.

Здесь, в этой деревушке, в ласковых, выразительных словах тетушки Маико синеглазый подросток впервые увидел прекрасный образ природы:

«— Боже милостивый! Как это ты сумел создать всю эту красоту? Ясное утро, улыбочное синее небо, золотистое рассветное веянье, нивы в шелестящем солнечном платье, розы, всего мира украшение, высокие, весь белый свет озирающие тополя, сладкий дух цветущих лип... Студеные ключи и хрустальный ветерок...»

Он никогда не забывал «любовного взгляда тетушки Маико» и этих ее слов: «Если с утра к тебе в душу не заглянет солнышко, трудно будет весь день! Тот первый утренний луч должен позолотить твои мысли и остаться с тобой, а ты иди, куда он ведет, не теряй его из виду... И увидишь — никогда не смеркнется у тебя в душе!»¹

Мать же научила его любить фиалки.

Всю жизнь сияли в душе поэта заветные образы этих людей, и мы явственно ощущаем тайное общение его с этими именами.

Где живу я? — В ветвях смоковницы,
в гранатовой корке,
в турьем роге,
в журчании ручья.

(Подстрочный перевод)

«Тетя Софио была самым любимым нашим человеком, — читаем мы в воспоминаниях А. Устиашвили, — когда мы видели или слушали ее, казалось, что на нас глядит сама доброта, словно родная мать говорит с нами...» «Она (тетя Маико), — пишет Алексн Устиашвили, — действительно была воплощением нежности и сердечности. Злиться или сердиться она попросту не умела» («Сабчота хеловнеба», № 11, 1971 г.).

Сегодня и в семье, и на улице, и в общественных местах нередко случается видеть, как матери с раздражением, невнимательно говорят со своими детьми. В их голосах мало того тепла, ласки, в которых так нуждается нежное сердце подрастающего человека, и как раз об этом пишет с горечью Георгий Леонидзе в прекрасном своем рассказе «Тетушка Маико»:

¹ Перевод Э. Ананишвили.

«Почему отвергли старинные грузинские ласковые словечки наши женщины? Неужели онемели, умерли, сгинули эти легкокрылые слова? Неужели так очерствели наши сердца, что мы не нуждаемся больше в таких словах? Почему забыли их сегодняшние грузинские матери? Ведь именно для них я пишу все это!»

Этот вопрос — один из важнейших в сборнике рассказов Леонидзе, хотя там множество и других вопросов тоже. И с этой стороны его воспоминания о детстве также близки сердцу читателя, заставляют задуматься.

Генрих Песталоцци (1746—1827), сын цюрихского врача, с именем которого связывают начало новой эры в истории педагогики, пишет: «Вся человеческая мудрость выражается в добросердечии и стремлении к истине. Развитие в человеке добродетелей семейных ведет к развитию добродетелей гражданских...»

Мои дети в любой миг могли прочесть на моем лице мою великую любовь к ним и понять, что их счастье — это мое счастье, их радость — моя радость. Я помогал им, учил их, беседовал с ними, их глаза устремлены были в мои глаза, их руки касались моих рук, когда было нужно. Мои слезы смешивались с их слезами, когда они плакали. Мой смех устремлялся навстречу их смеху, когда им было весело...» — рассказывает нам он, основатель приюта для детей из бедных семей¹.

Тепло и отзывчивость воспитателя имеет в виду поэт, указывая на это — и не раз! — в своих замечательных рассказах, посвященных важнейшим проблемам воспитания. В этом плане очень показателен его рассказ «Наш абрикос».

ВЕДЬ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ Я ПИШУ!

В газете «Теми» можно было часто встретить материалы о строительстве железной дороги в Кахетии, поскольку вопрос этот был очень важным и болезненным для кахетинцев.

«Вопрос о прокладке железной дороги в Кахетии был

¹ Мысли старых и новых писателей и выдающихся педагогов о воспитании. Тбилиси, 1920, с. 36—37.

поднят дворянством Тбилисской губернии еще в 70-е годы, до постройки железной дороги Тбилиси — Баку через Караяз. Впоследствии вопрос этот не раз становился предметом обсуждения грузинской общественности», — писала газета «Теми» в № 108 за 1913 год.

В 1886—1893 годах Илья Чавчавадзе в своих статьях «Наши экономические нужды и дорожные вопросы» (1886), «Кахетинская железная дорога» (1886), «Еще раз о кахетинской железной дороге» (1893), касаясь этого вопроса, отмечает: «Отсутствие хороших дорог заметно ухудшает жизнь нашего народа, отсутствие дорог препятствует экономическому благополучию народа, толкает его назад, затрудняет его жизнь, движение вперед. Дороги способствуют передвижению людей, общению их друг с другом, а также торговле, сбыту товаров...» (И. Чавчавадзе. Сочинения, т. 7, с. 246).

«Один из прекраснейших и богатейших уголков материи Грузии на сегодняшний день находится в безнадежном запущении именно в этом отношении. Уголок этот — Кахетия, богато и щедро одаренный край.

Тот, кто хотя бы мельком видел Кахетию, не станет отрицать, что эта, и впрямь благословенная самой природою, младшая сестра Картли, полная сил и здоровья, с полным основанием может хвалиться — мол, дайте мне только дорогу, и тогда я покажу вам, что я такое сегодня, чем буду завтра и с какими разнообразными богатствами готова выйти на ристалище». (Там же, с. 241—245).

Это историческое событие легло в основу прекрасного рассказа Георгия Леонидзе «Наш абрикос». В нем ярко описано, с какой жгучей болью переживали даже малыши горести дореволюционной деревни: «Оно (абрикосовое дерево — Ц. Х.) причинило жестокую обиду моему безоблачному детству. Его унизанные плодами ветви искололи, изранили наши чистые, беззаботные сердца», — пишет поэт.

Железная дорога проходила через иорские виноградники. Вдоль дороги было множество фруктовых деревьев. «И вот, словно из-под земли, высыпали толпы торгашей, набросились на наши сады и закупили на корню — где волей, а где и силой — чуть ли не каждое фруктовое дерево, чтобы потом нажиться вдесятеро, торгуя с землекопами... Помнится, перекупщики платили за каждое дерево по тридцать копеек, по полтиннику, по шесть гривен — и так до рубля, а сами клали в карман по червонцу. Во всей округе не осталось ни одной незапроданной яблони или груши, чтобы было чем полакомиться

ребенку... Оказывается, моя мать продала перекупщику и наше абрикосовое дерево: что ж, дескать, тебе одному лакомиться — жаль ведь соседских детей, будь и ты, как все, попустился вместе с ними, ничего с тобой не случится! И вручила мне три серебряных двугривенных:

— Купи себе свои любимые книжки!

Я и впрямь купил себе пару книжек, но вскоре и они, и их авторы стали ненавистны мне.

Вот почему наше абрикосовое дерево вызывало во мне долгие годы лишь ненависть и тоску».

«Откуда нам было знать, что печалило наших старших! Как могли мы угадать, что жизнь казалась им сплошной, темной, беззвездной и безлунной ночью?» — пишет уже пожилой поэт в рассказе «Тагрия». Однако эти беды и горести, неизменно сопутствовавшие крестьянам дореволюционной деревни в их повседневной жизни, глубоко запечатлелись в душе будущего поэта. Именно они являются тем основным фоном, на котором повествует он о детских переживаниях, показывает нам добрый мир души крестьянских детей.

Помимо прочих ограничений, душивших несчастных крестьян, их донимали еще и наглые перекупщики, о чем писала газета «Сакартвело»: «Спекулянты по неслыханной цене продают медный купорос, крестьяне не могут выторговать ни малейшей уступки и соглашаются на эту цену. Крестьяне качают головами, однако молчат, не сводя глаз с торговца. Наконец один из них говорит другому: «Пойдем, братец, отсюда, вырубим этот проклятый виноградник. Что нам еще остается делать, коль с таким безбожником связались». На это торговец купоросом пробурчал: «Вот сумасшедшие, еще и обижаются! Мой товар — что хочу, то и делаю!» (Газета «Сакартвело», 1916, № 24).

В 1889 году, в статье «Торгующее фруктами и овощами общество» Илья Чавчавадзе с глубокой горечью писал: «На рынке продукты труда обращаются в деньги, и этот экономический обмен именуется торговлей. Нельзя сказать, чтобы у нас не было рынка и торговли, однако и то, и другое устроено таким образом, что больше напоминает грабеж и обдираловку, нежели куплю-продажу, особенно по отношению к сельским товарам. На наших рынках деревенскому производителю очень трудно найти такого покупателя, который покупает не для того, чтобы перепродать товар, а для собственного употребления. Между продавцом и покупателем становятся многочисленные перекупщики, которые все делают для того, чтобы

хозяин не встретился с покупателем. А поскольку перекупщики отлично умеют сговариваться и торговаться, не отступая ни на шаг, то они без особого труда добиваются своего. Оставшийся без покупателя хозяин товара вынужден сдать на произвол перекупщиков, а те, уж конечно, так поворачивают дело, что товар достается им за гроши, а затем за этот, доставшийся им за гроши товар дерут с покупателя три шкуры. Таким образом, то, что теряет хозяин товара, и то, что переплачивает покупатель, попадает в карман перекупщика, а хозяин и покупатель остаются в убытке; словом, их поджаривают одновременно на одной и той же сковороде».

Вспоминается один рассказ поэта в связи с его матерью: «Моя мать лежала в больнице, в Тбилиси. Умирая, она просила, чтобы ее похоронили на кладбище на окраине села, повыше, где кусты держидерева.

Когда мать умерла, со мной поехали в деревню поэты — Сандро Шаншиашвили, Шалва Апхaidзе, Ило Мосашвили и другие. Первого апреля мы похоронили мать на том самом месте, которое она указала.

В ту зиму в деревне снег не выпадал, а в день похорон матери внезапно выпал большой снег, и вся деревня молилась за упокой души моей матери». Тогда я еще не вполне поняла всю боль души поэта.

Этот рассказ вспомнился и стал куда более ощутимым и понятным позже, после того как я ознакомилась со статьями Леонидзе в старой периодике. Эти статьи написаны еще почти детской рукою.

«Прошлый год был настолько неурожайным, — пишет он в газете «Синатле» (1911 г., № 12) под псевдонимом «Иориец», — что многим не хватило даже для посева всего годового урожая. В наших полях появилось множество мышей, которые разом уничтожали все запасы. Поэтому крестьяне мечтали о морозной зиме, так как в стужу мыши погибают. Однако надежды их не оправдались, зима выдалась теплая и не только не помогла борьбе с мышами, но, напротив, способствовала их размножению. Нынешний урожай тоже не обещает быть изобильным, и мышей по-прежнему много. Прочитав все это, нетрудно представить себе бедственное положение нашего края».

С еще большей остротой описывает он тяжкий быт села в газете «Теми» под псевдонимом «Патардзеулец Гогия»: «11 июня в селе Патардзеули случился сильный ливень, который начался в 10 часов вечера и длился до часу ночи. Дождь был сильный и частый, хлынул поток, люди забились в дома,

саманники, хлеба. Никто не решался высунуть нос за дверь. Это была ужасная картина — люди прятались, а добро их погибло. На пасеке Мариам Матикашвили многие ульи наполнились водой, и несколько ульев унесло потоком.

Это стихийное бедствие разыгралось ночью, и что могли поделать люди посреди ураганного ветра, громов и молний и проливного дождя? Поток смыл сады, огороды, нивы... В селе есть овраг, пересохшее русло (вода уходит под землю). Во время дождей этот овраг превращается в настоящую реку. Вот и на этот раз овраг раздулся, вспенился, словно превратившись в свирепого льва, и набросился на деревню! Он унес саманники, виноградники, дома; там, где были огороды, вода оставила лишь голую землю». (Газета «Теми», 1912, № 77).

Как узнаем мы эти образы, читая воспоминания поэта о детстве:

«...Катит с грозным лвиным рыком свои тяжелые волны вздуваясь по весне, бешеная Иори, кружит вырванные с корнем деревья, огромные лесины и колоды, волочит мельничные жернова, мчит обломки изгородей, размывает берега. Несется с диким, тревожным ревом, черная, мутная, пенистая, страшная...

— Огороды разорила, кукурузные посеы смыла, погубила виноградники, затопила луга! Не оставила нам ни единого фруктового дерева, ни одного виноградного куста — ограбила нас, обчистила, по миру пустила, а тебе и горя мало! — выговаривал сосед-крестьянин восхищенному Иораму».

Положение крестьян усугублялось еще и тяжкими повинностями, притеснениями со стороны старост, назначавшихся правительством, о котором поэт писал в газете «Синатле» под псевдонимом «Иориец»: «В с. Патардзеули прошлый год был очень неурожайным. Однако сломленных неурожаем крестьян не оставляют в покое, прижимают их бесконечными повинностями, которые приводят народ в совершенно жалкое состояние. В то время там находились правительственные старосты, которые всячески притесняли сельчан. Разнесся среди крестьян слух — в Кахетию, с целью ознакомления с краем, пожелает г-н губернатор. Эта весть очень обрадовала крестьян, у них затеплилась надежда на избавление от старост. После долгого ожидания губернатор в конце концов приехал. Ему подали прошение о том, чтобы, наряду с прочими милостями, убрать старост и их стражников, поскольку в округе царят мир и спокойствие. Г-н губернатор на собрании пообещал исполнить просьбу, и действительно, вскоре были

сняты с должностей правительственные старосты в селах Хашми, Патардзеули и Сагареджо, чем изрядно подрезали местные нечисти!

В селе Патардзеули вместе со старостами прогнали и сельского писаря, который не мог действовать в интересах народа...» (Газета «Синатле», 1910, № 11).

«Началась война 1914 года. Алчность, жадность, ненасытность вырвались на волю...

— Только стыд и удерживает небо — не то обрушилось бы нам на головы! — говорили пожилые люди.

Забрали в деревнях молодежь в солдаты
Разверзлась пасть могилы».

Так запечатлелась первая мировая война в памяти поэта.

«Наше положение ужасно. Крестьяне-кормильцы ушли на войну. В деревне остались женщины и старики, некоторые из них уже совсем утратили силы и здоровье. Беды душат несчастных крестьян, однако и это горе можно было бы вынести, если бы не свалилось новое. В некоторых наших селах и уголках, как сообщают газеты, поднял голову голод, и если будущая весна не принесет перемен, голод усилится и zalьет черными лучами нашу розовую родину.

Уже и в нашей деревне заметны признаки голода. Хорошо еще, что здешнее кредитное товарищество помогло нам с хлебом. Пригнали вагон со станции Гоми и продают коди (три пуда) за 4 рубля 50 копеек, а ведь кое-кто продает уже за 5 рублей 50 копеек», — пишет он в 1915 году под псевдонимом «Гогла Л.». (Иллюстрированное приложение к газете «Сахалхо пурцели», 1915, № 185).

«Я ведь записываю простые были вашей жизни», — обращается он к своим односельчанам в небольшой книжке, которую он назвал «Волшебное дерево» и в которой столько мудрости, любви, боли и радости. Когда читаешь его статьи, отпечатанные на старой, выцветшей газетной бумаге, и слушаешь воспоминания о детстве поэта: «В тени родных деревьев», уже не удивляешься тому, что неутомимый искатель волшебного дерева, многодетный бедняк Элиоз «не сумел убежать от страшной, леденившей ему душу действительности. Мечта о чуде стоила ему жизни». Не удивляешься и тому, что отшатнулся в ужасе хозяин полуразвалившейся землянки, услышав ответ дьякона Элевтера на вопрос:

«— А что такое бессмертие?

— То, что напейся этой воды — и будешь жить вечно!

— Не хочу! Зачем мне вечная жизнь — в нищете да в
маете?»

Очень резкими, густыми красками переданы глубокие душевные переживания поэта, боли и радости, печали и надежды его односельчан, выраженные густым, жилистым, сочным, красивым грузинским языком его прекрасных рассказов.

Из глубины прошлого встают прекрасные, незабываемые образы, в жизни которых явственно видны нравы и обычаи грузинского народа — природа грузина, его стойкость, трудолюбие, достоинство, скромность... Это и Хварамзе Ласуридзе, и тетушка Чахтаура — «видная, статная женщина, строгая, с сильным характером, всеми уважаемая, признанная предводительница женщин нашего села», Марита — «юный месяц на земле», «слабый аромат майской сирени», Шалиа — «искрометный, огневой, быстрый и ловкий, пылкий и причудливый, ярый и неумный, гордого и привольного нрава и широкого сердца», Цицикорэ — «старейшина, предводитель и законодатель села», Гвинджуа — «тамада, славившийся во всей округе благодаря своему крестьянскому красноречию», Чорехи, Бедиа, Тагрия, Хведиа...

Навсегда с любовью запомнило их сердце будущего поэта. И он же во весь голос воспевал обновленную жизнь своего села. Деревня в его сознании стала символом изобилия, красоты, чистоты. Поэтому и столько силы в его обращении к Пиросмани:

Как спутники, с тобою твои краски,
Лучистое утро с цыплятами, алмазом роз,
Полная, нестареющая грузинская давиленья,
Пшеничное поле, турач и пестрая форель.

На радугу опустилось твое детство,
В сердце совет гнездо соловей, в душе — рубин.
Что добавит тебе здесь предводительство над кинто, —
Поцелуй листок, обними деревенскую траву!..

(Подстрочный перевод).

Прекраснейшими эпитетами одарил он виноградную лозу. По убеждению поэта, она — особая частица природы; лоза — это бессмертие бытия. Прислушаемся к разговору Георгия Леонидзе с Ашотом Граши:

«— Ашот, я хотел бы прожить столько, сколько живет/ виноградная лоза. Знаешь, сколько живет лоза?»

-- Нет.

-- Сто пятьдесят лет! Запомни это и воспой лозу. Человек — это лоза в винограднике человечества. Лоза дарит нам вино, а поэт — песни.

Вот почему он так любил грузинскую деревню — ведь там, как ребенка, растят лозу.

Для меня, да и не только для меня, для всех, кто его знал, — пишет очарованный своим грузинским собратом по перу армянский поэт Ашот Граши, — он был достойным воплощением грузинского народа, его благородного и открытого сердца. Поэта Леонидзе одни называют зарей Грузии, а его стихи — восходом солнца в горах. Другие зовут его созревшим виноградом». (Газета «Комунисти», 23 сентября 1967 года).



КАК зачастую бывает — и не только в театре — знакомству предшествуют слухи; вот и русский читатель и театрал вначале услышал имя Лали Росеба — оно стало встречаться не так давно в заметках о театральной жизни Тбилиси. После того как ВААП выпустил ее «Премьеру», а М. Вайль поставил спектакль на Малой сцене театра им. Моссовета, облик драматурга стал приобретать реальные очертания. «Провинциальный сюжет» актеры театра Марджанишвили сыграли для узкого круга единожды почти одновременно с выходом «Провинциального происшествия» (так предпочла назвать ее автор в собственном переводе) на страницах «Литературной Грузии». И лишь в связи с большими гастролями марджановцев, продемонстрировавшими, какой напряженный и острый процесс исканий характеризует сегодня грузинскую сцену, выяснилось, что в драматургии братской республики появился человек с «лица необщим выраженьем», автор, чьи устремления близки не только театру, счастливо нашедшему своего драматурга (Поэта — сказали бы раньше), но представляют

Геннадий ДЕМИН

ЕСЛИ СЛИЧИТЬ СИЛУЭТЫ

достояние всего многонационального народа нашей страны. Ее часто называют «грузинской Петрушевской». Хронологически следовало бы наоборот — ее первая пьеса датировается 1970 г., в то время как Людмила Петрушевская дебютировала в драматургии пронзительными «Уроками музыки» двумя годами позднее. И ныне, хотя образ Росеба-драматурга еще не вполне отчетлив, можно судить не только о правомочности такой параллели (неизвестное познается через знакомое), но и о ее точности, поскольку, при всей схожести мировосприятия грузинской и русской писательниц, видны и различия их творческой манеры. У Росеба переведены, как уже говорилось, только две пьесы (Т. Чхеидзе привозил и ее инсценировку «Анны Карениной», но ограничимся оригинальной драматургией), однако «утешает» то обстоятельство, что у ее коллеги опубликовано немногим больше. Количество постановок пьес Петрушевской на профессиональной сцене также ограничено, так что условия — увы! — подобны: театру, по крайней мере столичному, еще предстоит освоить эту во многом неожиданную драматургию.

Обе пьесы Росеба — о театре. Когда сцена рассказывает о себе — всегда уязвимо, есть опасность уйти от предназначения театра: открывать людям их самих и их время, а взамен заняться внутрицеховыми делами. Даже когда закулисная жизнь лишь исходный материал, угроза измельчания реальна, последний тому пример — «Директор театра» И. Дворецкого, доводящий до самопародии самые благие намерения. Вторичность искусства как бы возводится в квадрат.

Росеба пишет не о храме муз, из которого изгоняются торгующие. Она не пишет о гениях, творящих Искусство и вызывающих неизменное преклонение. Ее «предмет» — провинциальный театр. Где творческие проблемы никнут перед производственными. Где силы тратятся на то, чтобы просто выжить, просто существовать. Где романтические муки творчества разительно контрастируют с реальными человеческими страданиями.

Богема, актерская жизнь всегда рассматривалась как нечто, высокой миссии театра недостойное и ей препятствующее. В самых известных мелодрамах — «Кин» А. Дюма-отца или «Адриенна Лекуврер» Э. Скриба — пошлость среды препятствовала творчеству и разрушала талант актера. Даже у М. Булгакова в «Кабале святош» закулисные интриги, приобретая социальную подоплеку, противопостав-

лялись сфере творчества. Между частной жизнью и общественной деятельностью лежала непреодолимая пропасть. Но с появлением профессии режиссера абсолютно вынужденным фактом, что личные качества актера, как и вообще работника театра, связаны с его творчеством не столь однозначно, как хотелось бы. На памятной встрече в московском ресторане два знаменитых впоследствии театральных деятеля при отборе актеров для будущего МХТ руководствовались не только степенью одаренности того или иного артиста, но и его человеческими свойствами. Учение о театральной этике и возникло из необходимости совместной работы разных индивидуальностей, со своими особыми талантами и темпераментами, достоинствами и капризами. И если признано ныне, что на производстве психологический фактор играет существенную роль, если на заводах и фабриках создаются соответствующие службы, то в театре, где взаимоотношения людей — в некотором роде «конечный продукт», внесценическая жизнь оказывает значительное влияние на происходящее на подмостках.


Об этом и пишет Лали Росеба. О театральных буднях. Не тех, что непосредственно связаны с творчеством (сам процесс труда не поддается воспроизведению на сцене, и театральная работа не составляет исключения), но о бесконечной веренице сопутствующих перипетий. О «невидимых миру слезах». Не о состязании талантов под ослепительными лучами прожекторов на глазах возбужденной толпы — о жесткой борьбе за самую возможность участвовать в подобном состязании.

У Петрушевской тоже есть пьесы о театре, по случайному совпадению их тоже две: «Птица Чайка» и «Квартира Коломбины». Не занимая большого места по объему в ее творчестве, они тем не менее чрезвычайно характерны, поскольку раскрывают отношение драматурга к театру. Это — признание в любви, это упоение театральной стихией, наслаждение возможностями, которые предоставляет сцена удивительному существу — актеру. Как в цирке зритель с замирающим сердцем следит за головокружительными трюками воздушных гимнастов, восхищается сверхъестественной ловкостью жонглеров или рукоплещет бесстрашному мастерству укротителей, так и в театре на глазах сотен изумленных свидетелей происходит чудо перевоплощения актера. Польшевский директор театра может с успехом выступить в роли Мамы Красной Шапочки (поскольку актриса — супруга

директора, естественно — стоит в очереди за дефицитом), Красная Шапочка может преобразиться в Охотника, Волка, Волшебницу — так, что подмены не обнаружит не только директор, но и зритель. Живительная струя лицедейства, звенящая и искрящаяся в пьесах о театре, пронизывает и детские сказки, и другие драматические произведения Людмилы Петрушевской, вплоть до наиболее типичных: «Лестничная клетка», «Песни двадцатого века», «Я болею за Швецию»... Карнавальная атмосфера, то подспудная, то рвущаяся бесшабашным юмором, — бодрящий источник и яркое свидетельство жизнеутверждающей направленности драматурга.

Иной ракурс у Росеба. Здесь мало радостного фейерверка, блеска и обаяния, которыми манит и чарует театр. В пьесе с притягательным названием «Премьера» сама премьера не изображена — действие начинается за два месяца до нее и продолжается непосредственно после. Исследуется не само событие, а тот круговорот надежд и чаяний, что оно возбуждает. Организующий центр драмы (в «Провинциальном происшествии» это тоже предстоящий спектакль, который, как надеются персонажи, станет переломным моментом в их многотрудной жизни) не явлен зрителю, но безусловен для персонажей. Для Нелли предстоящая премьера — возможность выбраться из захолустья, для Марго — та слава, которой она жаждет для брата и отсветы которой падут и на нее, для Резо — последний выход на подмостки, центральная роль — для Коки, и так далее вплоть до ненавидящей театр Ады и только что прибывшей из провинции Като — всех властно захватывает, втягивает в свою орбиту преобладающая премьера. В истории четвертьвековой давности — аналогичная ситуация: Мурман рассчитывает на возвращение в актерское сословие, Нина и Зизи получают долгожданные роли, а для Лео выступление Мурмана означает конец его положению первого актера труппы. Но пока премьера далеко, действуют иные законы. Если Мейерхольд, ставя Чехова, подсчитал 33 обморока в его водевилях (так и назвав спектакль), то в драмах Росеба, наверное, не меньше скандалов. Пьесы со скандалов начинаются, склоками заканчиваются, напряженность — атмосфера постоянная.

У Петрушевской также нет событий в традиционном понимании слова. Мелочи, досадные случайности замещают их: забыла ключ Галя, и вот она и ее гости оказываются перед запертой дверью («Лестничная клетка»); женщина поднимает крик в незнакомом доме только потому, что ей показалось,



будто тайком хотят женить ее сына («Проходите в кухню»)… Достаточно порой одной фразы для описания происходящего: «Юноша записывает себя на магнитофон» — «Песни двадцатого века», «Трое мужчин выпивают» — «Чинзани». Характерной для нынешнего развития драмы тенденцией к минимизации событий, куцей фабулой Петрушевская пользуется, чтобы сосредоточить внимание зрителя на последствиях таких микрособытий, проследить их влияние на внутренний мир ничем не примечательных персонажей.


Действующие лица у Росеба — тоже обыкновенные люди, лишь близость к театру накладывает на них своеобразный и неизгладимый отпечаток. «Кто хоть раз вдохнул кулисную пыль, отравлен на всю жизнь!» — передразнивает Ада в «Премьере» мать и тут же бросает ей в лицо: «Ты и меня хотела отравить!». Стершаяся до безликости фраза неожиданно приобретает драматическое звучание и комический оттенок.

Да, все персонажи в пьесах Росеба отравлены театром. Или почти все. Темо, например, в той же «Премьере» признается, что любит театр лишь «как идею», а сам в театр не ходит. Ада ненавидит театр — не без оснований. Не только потому, что тот оставил незаживающие, саднящие раны: мать, не занимающаяся дочерью, Резо, которого она любила и продолжает любить, хотя он ее бросил: «Дочка у тебя, — говорит он Марго, — невкусная. Я ее поцеловал, а она невкусная!» Ненавидит Ада еще и потому, что в повседневном существовании театр, люди театра не дают нормально жить. Она прекрасно видит, что дядя Ираклий не сделал и не сделает никакой приличной карьеры, что мать живет только воспоминаниями и околотеатральными сплетнями, что хитрость и наглость Нелли соперничают разве что с ее глупостью. Даже провинциалочка Като грезит о театре и уже готова затмить Аду, а возраст Ады критический. И в таком доме приходится принимать Темо, «сына профессора Купатадзе!» А гости? Один Коки чего стоит, хлыщ и неудачник, откровенно приударяющий за Нелли, чтобы через жену режиссера добиться для себя главной роли. Не так трудно предвидеть, что он устроит скандал, как, впрочем, любой другой из «самой подходящей для тебя компании», как заявляет Ада матери. Другой Гость — из «Провинциального происшествия», не держащийся на ногах и засыпающий на полу, — зримое воплощение перспективы, ожидающей тех, чьи надежды разбиваются о рифы реальности. Ведь Ада во

многим права, Росеба не идеализирует своих героев. Не станет властителем дум современников Ираклий, бездарна безмозглая Нелли, никогда больше не сможет петь без фальшивого Марго — как не смогут вырваться из заколдованного круга заурядности Нина и Зизи, преданные сломленным Мурманом, и даже Лео, представший поначалу интриганом и завистником, а по сути — столь же обделенный и обойденный жизнью, как и его жертвы, Лео тоже не получит долгожданного приглашения на киносъемки. Но что же заставляет трезвомыслящую Аду отказаться от respectable и надежного Темо? Почему он, для которого «профессионализм противен самой природе искусства», безнадежно проигрывает в сравнении с жалкими этими профессионалами? Почему театр, так явственно уродующий своих служителей, вдруг дарует им нечто, перед чем отступает выверенный прагматизм?

Персонажи Петрушевской (исключая пьесы о театре и сказки) не просто далеки от искусства, но вообще не упоминают о нем в разговорах. Обязательный вроде минимум для излюбленного писательницей круга — среды интеллигенции, людей с высшим образованием, работающих не на производстве, а в разного рода НИИ, бюро, даже музеях, — этот устоявшийся в массовом сознании стереотип обладания какими-то духовными ценностями насмешливо драматургом разоблачается. Если персонажи и говорят, допустим, о книгах, то назначение последних предельно утилитарно: «они в них деньги хранят; дети еще малы, а я, как известно, книг не читаю» («Чинзано»), а то и саркастически вывернуто наизнанку: тот, кто «живет книгами», — просто спекулирует ими. Подобное нарочитое отстранение от высоких материй вызывает раздражение недалеких критиков, привыкших к разделению героев на положительных и отрицательных и видящих в том высшее достижение искусства. Против штампованного восприятия и направлен лукавый прием Петрушевской, не дающий возможности предварительной ориентации зрителя в зависимости от эстетических пристрастий персонажа. Или от его профессионального усердия — чаще всего даже неизвестно, где и кем работает тот или иной герой. Очерчен примерный круг, даны несколько узнаваемых деталей в бытовом преломлении (переход Светланы в ночную смену, чтобы быть с ребенком, — «Три девушки в голубом»; повышение со 105 до 120 зарплаты Паше — «Чинзано» и т. п.) — достаточно, чтобы сработала зрительская фантазия.

У Росеба — иначе. Поскольку театр для многих ее пер-



сонажей означает и трудовую деятельность, о них известно все или многое. Правда, в отношении к театру непрichaстных она также ограничивается несколькими штрихами (Темп, Инца, Гость), но о связанных с театром повествуется подробно. Чаще всего драматург использует традиционную форму рассказа одного из персонажей другому: так в «Премьере» словоохотливая Марго просвещает Като, в «Происшествии» избыточно выдает информацию Нина. Порой в репликах, просяльзывающих в столкновениях и стычках, также можно уловить детали чьей-то биографии, но главным средством остаются монологи, подготавливающие эмоциональное восприятие зрителя и усиливающие контрастность несбывшихся надежд.

Для Петрушевой словно бы неважно, что подумает зритель и надо ли ему что-то знать о тех, чьи истории разворачиваются на подмостках. Сведения она рассыпает минимальными дозами в случайных на первый взгляд фразах, вроде бы незначительных и никуда — как и происшествия — не ведущих. Набрасывая тонкий контур, драматург провоцирует зрителя на заполнение белых пятен собственным житейским опытом. Кому из аудитории неясно, что значит для студента техникума снимать комнату, «вернее, веранду», отдавая за нее значительную долю из нешикарной стипендии? Кому из зрительниц — они составляют большинство в театральных залах — невятно, каково взять к себе жить в коммунальную квартиру полузнакомую по роддому женщине с новорожденным, как это сделала Анна Степановна из «Уроков музыки»? Или воспитывать ребенка без отца, как Рита в «Дне рождения Смирновой»? Достаточно лишь намек со стороны драматурга, чтобы активизированная мысль зрителя устремилась в нужном направлении.


Люди, созданные фантазией Росеба, также в полной мере испытывают кошмары быта: звуком капель, падающих с протекающего потолка в мятый таз, начинается и заканчивается «Происшествие», где ярко описывает свои будни Нина: «ужасные гастроли с гостиницами — в одной меня чуть не укусил скорпион, можешь себе представить! Не говоря уже о клопах и сырости...»; в уютном семейном гнездышке, на создание которого столько сил положила Марго в «Премьере», Иракий вместо передышки между репетициями получает порцию криков... Все же персонажи Росеба ощущают суетность «малых дел», которые, как им кажется, исчезнут, стоит лишь дорваться до настоящей жизни.

Мечтают они об ином, хотя немногим удастся сделать реальный шаг: «Это там... Театр... Далеко-далеко. Маленький, маленький. Там». Там — всегда не здесь, даже пех. Но успех так редок, а в неизбывном отчаянии проходят годы: «Судьба ни при чем. Судьба не плоха. Это мы дурны. Это мы, мы сами... Мы получаем то, что заслужили. Мы пачкаем себя в чем попало и все думаем, время еще есть... А потом оказывается, его уже нет...» Два существования, текущих как бы параллельно и никак не могущих пересечься: яркая и красочная жизнь где-то там — и изматывающая обыденщина тут.

Сознание этого контраста у действующих лиц Росеба и полная погруженность в быт персонажей Петрушевской вовсе не означают, что вторая приземляет своих героев, а первая — возвеличивает. Речь идет только о разности приемов: Петрушевская ничего не говорит впрямую, зритель должен проныкнуть сам в затаенные желания персонажей, которые их не только не высказывают, но порой и не осознают; Росеба тщательно живописует стремления своих героев, то с улыбкой, то с горечью, чаще — с горькой улыбкой изображая их метания.

Действие «Провинциального происшествия» разворачивается в 50-е годы, «Премьеры» — в наши дни. Хотел ли автор создать своеобразную дилогию (быть может, цикл), в отсутствие переводов об этом остается лишь гадать, но объективно две пьесы составляют летопись провинциального театра, написанную трезво, с цепкостью к мелочам и — обдающей жаром сочувствия. Люди Росеба — не идеальны, порой вульгарны, подчас поддаются скверному настроению и могут довести близких до истерики, но в незадачливых своих персонажах автор умеет разглядеть живую душу, издерганную, истрадавшуюся и упрямо восстающую — будь то Коки с его просыпающимся чувством человеческого достоинства (так и играет его Ю. Беркун в спектакле москвоведов) или Нина, в чьей неизбывной нежности отогреваются и младшая сестра, и старый друг, — такой предстает она у Г. Габунна.

В спектакле марджановцев есть четкое ощущение дистанции времени — и в захламленности квартиры, загроможденной неповоротливой мебелью сценографами О. Качкидзе, А. Словинским и Ю. Чикваидзе; и в чуть замедленных ритмах, выстроенных постановщиком Медеей Кучухидзе с изысканностью балетмейстера и пронизательностью ученого;



и в актерских работах — прежде всего Лео О. Мегвинетуху-цеси. Но наряду с дымкой «ретро» весь коллектив остро почувствовал — и воплотил — своевременное звучание давней истории, восприняв ее не как искусственное перенесение в прошлое сегодняшних проблем (чем грешат многие произведения исторического характера), но как звено в длинной цепи развития, взглядевшись в которое лучше поймешь свои корни и свое движение. Так и замышлялось автором.

У Петрушевской историчность взгляда достигается иными средствами. Почти все ее пьесы — о сегодняшнем дне (единственное исключение — «Сцена отравления Моцарта»), но прошлое и будущее ощутимы на сцене. Иногда она пользуется столкновением разных поколений (в «Трех девушках в голубом»: 3 старухи — 3 женщины — 3 ребенка), чаще — персонажами, на сцене не появляющимися, но упоминаемыми и цитируемыми. Ее персональное открытие в технике драматургии — обилие этих не выходящих из-за кулис, «недействующих лиц», создающее плотность среды обитания присутствующих на сцене. Через рассказы о старшем поколении, вплоть до легендарных времен («В библии сказано») строит Петрушевская историчность бытия своих героев. Однако драматурга притягивает не столько непрерывность цепи, сколько разрыв: нынешние тридцати-сорокалетние родились и сформировались в условиях, подобных которым не было в истории страны. Опыт старших в прямом его приложении оказывается источником постоянных подспудных конфликтов.

Конфликты у Росеба более открытые и возникают внешне по разным поводам, но есть нечто общее, лежащее в их основе. Не театр, но отношение к жизни, поверяемое театром. Театр — модель жизни: вечная погоня за синей птицей, когда сегодняшняя удача означает лишь, что завтра все надо начинать снова с самого начала. Драматург и любимые ее герои отдают себе в этом отчет: финал «Премьеры» — наставание музыки и «счастливый голос далекой молодой Марго», в звуках которого «тонут и смех Ады, и крики Нелли, и причитания Марго...»

У Петрушевской, за исключением «Уроков музыки» — первого ее произведения для сцены, нет финалов, где драматург вершит свой приговор ясно и рельефно. Как правило, окончания пьес у нее более зашифрованы, требуют напряжения мысли, умения анализировать — чтобы распознать символ, запечатленный, казалось бы, в самом прозаическом. Когда в «Лестничной клетке» двое пьянчуг уходят

от женщины — это не торжество расхожей морали (та не подалась на легкое времяпрепровождение) и тем более не разочарование (упущена возможность замужества), хотя внешне это выглядит похоже; это тронутое тлением оказывается бессильным перед бесхитростно и упрямо тянущимся к жизни существом.

Стойкость, способность понимать и прощать, умение если не бороться с ударами, то переносить их, делая свое дело, — этим привлекательны герои Ресеба. Она гораздо более отчетлива, нежели ее коллега, в выражении своих обязанностей и антипатий, но также неподвластна чувствительному умилению. Драматург не вуалирует суровой правды жизни, тяжести обстоятельств, непомерности трудностей стоящих перед ее персонажами в том нелегком деле, которое Чехов называл «выдавливанием из себя раба». Ни семейное или личное счастье, ни общественное признание, ни официальные награды отнюдь не являются неперенным сопровождением на тернистом пути — это сознает автор и ощущают его герои. Ираклий уезжает в маленький захолустный театр, Като навек прощается с любимым, Мурман расстается с театром, одиночество ожидает Марго в разоренном гнезде... Итак, пути русской и грузинской писательниц не совпадают по многим и многим параметрам. И темы, и архитектоника их пьес, и методы создания образов, и принципы общения со зрителем не только расходятся, но кажутся прямо противоположными. Даже такой насущный для современного театра вопрос, как национальное своеобразие, решается драматургами абсолютно разными средствами. У Ресеба это прежде всего национальные типы, национальные характеры, хотя не забыты и черточки быта, весьма важные еще и потому, что театр, с которым связана жизнь ее героев, — заведение довольно космополитическое, и есть опасность уйти в безликое, приняв его за общечеловеческое.

У Петрушевской иная тревога: стремление к символу сулит пренебрежение к конкретной индивидуальности; и борется она — успешно — другим средством: языком. Ее язык — живущий на улице, еще не успевший попасть в литературу и законсервироваться в официальном признании. Это сгустки эмоций и новых понятий, языковое творчество — не то, к которому обращались классики в поисках незамутненного, дошедшего из глубины веков слова, но слово, родившееся и существующее в водовороте большого города.

слово, несущее на себе печать времени и аромат сиюминутной жизни.

Отсюда и трагифарсовость многих произведений Петрушевской в отличие от грустных лирико-философских комедий Росеба. Почему же редко ошибающаяся молва упорно объединяет двух драматургов? Что общего у столь самостоятельных авторов?

Медая Кучухидзе, говоря о квинтэссенции пьес Росеба, восклицает: «Быт! Он существует и никуда от него не денешься. Иногда он достигает значения символа. А иногда превращается в судьбу». Быт, который всегда социален. Не просто черточки уклада, характерные для определенного круга, к которому принадлежат персонажи, и не только опознавательные знаки времени. В мирный период общественного развития быт оказывается именно той сферой, где социальная напряженность связывается с личностными проблемами. В чисто житейском проявляются те болевые точки, которые до недавнего времени были скрыты за фасадом очевидных достижений. Не молодежная тема, столь определяющая для 60-х гг., не производственная драма, пережившая подъем в середине 70-х, а внешне локальные пьесы затрагивают «нервы времени». В быте в тугую узел затянуты долгие время остававшиеся в полумраке непризнания острейшие проблемы — распадающиеся семьи (большинство персонажей «Премьеры» и «Происшествия» связаны семейными узами, и все они несчастливы в семейной жизни), одиночества (телефон службы доверия — примета нашего времени), тяжесть женской доли, обделенность любовью. Парадоксально, но именно камерность происходящего позволяет выявить масштаб затрагиваемых больных вопросов. Персонажи бьются о глухую стену, мечутся в поисках выхода, разбиваясь в кровь, отчаиваясь и вновь начиная искания. Это нескончаемая повесть о том, каких невероятных трудов стоят самые маленькие победы, как пробиваются люди друг к другу, как вместе и каждый порознь вырабатывают умение не выживать, но жить. Быт, ставший участием, быт как единственно возможная сфера существования, как подножие бытия, его влияние в новое, небывалое время, влияние еще непонятое, неизведанное — искренней благодарности заслуживает тот, кто пристально вглядывается в него. Важно не только для историка, но — тысячекратно — для современника, ибо дает возможность осмысления мира и своего места в нем.

Тому, кто ждет от театра показа изящной жизни несущей

ществующих людей, кто ищет в нем забвения от повседневных забот, кто вслед за бессмертным персонажем Маяковского готов воскликнуть «от имени рабочих и крестьян» (и других социальных слоев) — « Попрошу меня не будоражить » и « Сделайте мне красиво », тому незачем ходить на спектакли Росеба или постановки Петрушевской. Как и тому, кто, признавая сложность окружающей действительности, тем не менее жаждет мгновеннодействующих рецептов и четких указаний. Обе писательницы слишком уважают театр-кафедру, чтобы пойти на поводу у первых, и предполагают достаточную социальную и умственную развитость у зрителя, чтобы потакать вторым. Но те, которые стремятся в театр, чтобы, смеясь и плача, познать время, в которое им выпало жить, осмыслить реальную свою и окружающую жизнь, — те найдут в этих авторах пронизательных и взволнованных собеседников. И Лали Росеба, и Людмила Петрушевская страдают не только заблудшим своим персонажам, но и живым современникам, ради которых драматурги и несут тяжкий крест бесстрашного анализа. Они не делают вид, что знают ответы на жгучие вопросы, и не дают советов, столь же прекраснодушных, сколь и бесполезных. Ибо только сам человек сможет, без указки и подсказки, решить для себя наболевшие проблемы — они верят в такого человека. И приходят к нему на помощь, дав надежную опору — юмор. Беспреданное смешение комического с драматическим, которое не дает ни расслабиться в слезливой жалости, ни отвернуться с презрительным высокомерием, которое оставляет трезвым ум при горячем сопереживании души. Юмор, помогающий выстоять в самых тяжелых ситуациях, не терять ни головы, ни совести, когда, кажется, рушится уже все.

Нет ни русской Росеба, ни грузинской Петрушевской. Есть два самобытных, зрелых художника, две гордые дочери своих народов, по-женски детально видящих страшную власть мелочей, ускользающую от поверхностно-надменного взгляда мужчин. Два любящих сердца, дарующих бодрость и надежду своему главному герою — зрителю.



ОБРАЩЕНИЕ

К ФОТОГРАФИИ

НА ТРАДИЦИОННОМ четверге в журнале «Советское фото» московская общественность познакомилась с творчеством известного грузинского графика, народного художника ГССР Нодара Малазониа. В выступлениях говорилось о том, что творческий метод художника демонстрирует широкие изобразительные возможности фотографии, ее роль и место в создании современных графических произведений.

Нодар Малазониа пришел к фотографии как средству своего художественного языка не сразу. Закончив в 1955 году Тбилисскую академию художеств по классу плаката, он вот уже тридцать лет успешно занимается изобразительным искусством. Диапазон Малазониа крайне широк. Его интересуют живопись, станковая графика, книжное оформление и карикатура. Сначала он работает в традиционной технике: акварель, гуашь, черно-белый рисунок.

В 60-е годы им были созданы две серии: автолитографии «Картины моего села» и рисунки гуашью на картоне «Картины прошлого». Обе серии вышли впоследствии альбомами. Эти работы овеяны поэтическим осмыслением красоты родной земли, любовью художника к бесконечно изменчивым холмам и прихотливо выющимся дорогам, наполнены нежностью к трогательным маленьким домам, затерявшимся среди гор под бескрайним небом. «Картины прошлого» основаны на фольклоре одного из красивейших мест Грузии — Гурии, родины художника.

Наряду со станковой графикой Малазониа занимается и книжной графикой. В оформлении большинства книг Нодара Думбадзе он, в частности, успешно использовал свою

фотографию, придавая ей звучание подлинно полиграфического произведения.

Но, пожалуй, наиболее полно художник выражает себя в искусстве плаката. Он оказался именно той художественной формой, которая позволяет художнику говорить с наибольшим числом людей наиболее ясным и доступным языком. В руках Малазони плакат становится послушным инструментом, способным разыграть любую мелодию. От страстного антивоенного пафоса в сериях, посвященных Великой Отечественной войне и борьбе за мир, до чувства любви к родной земле, ее истории и культуре в туристической серии «Посетите Грузию».

В 1975 году Малазони выпускает третий альбом — «Десять графических композиций, посвященных 30-летию победы над фашизмом». Над этой серией он работал более пятнадцати лет. Работа выполнена гуашью на картоне и состоит из десяти графических листов, связанных единством антивоенной темы. Один из плакатов («Не повторится!» 1957 г.), положивший начало этой антивоенной серии, на Берлинской международной выставке политических плакатов был отмечен премией.

Два последних листа альбома переносят автора в наши дни. «Нет!» — над игрушечным городом, построенным из детских кубиков, зависла тяжелой черной каплей бомба. Ее удерживает только тонкая ниточка повторяющегося слова — нет, нет, нет... Последний, завершающий лист приглашает правительства всех стран сесть за стол переговоров. На голубом поле легкий стол, покрытый скатертью, составленной из государственных флагов крупнейших держав, от которых зависит мир на земле. На столе круглый каравай русского хлеба.

Эта серия раскрывает ясную гражданскую позицию автора, масштабность его мышления и умение говорить о крупных проблемах современности языком поэтической метафоры. Большое значение придает Нодар Малазони не только выбору темы в своих плакатных работах, но и графическому языку, который включает в себя целый комплекс проблем и решений: композиция и цвет, шрифт и пространственная организация листа и, конечно, художественный образ человека, предмета или среды, который должен с наибольшей полнотой воплотить и раскрыть авторскую идею. В плакате художники для создания образа чаще всего прибегают к рисунку или фотографии. Последняя подкупает своей

четкостью и адекватностью в передаче окружающего мира, а также широким диапазоном пластических возможностей от классической черно-белой тоновой фотографии до современного цветного слайда, от передачи действительности натуралистической точностью до воспроизведения куска жизни при помощи условного языка фотографии.

Выделение фотографии в самостоятельное направление произошло сначала в среде фотографического искусства и привело к появлению особой категории людей, которую можно объединить общим словом — фотохудожник.

В руках фотохудожника фотография из самостоятельной станковой переходит к прикладной. Целенаправленное руководство печатными процессами полностью преобразует первоначальный фотографический образ в новый — графический. Первоисточник и окончательный отпечаток сохраняют лишь общую тему, схожее литературное содержание. Пластический язык нового графического образа стал иным. Из него ушли конкретность и достоверность отдельного факта (что было присуще фотографии и в чем была ее главная ценность), зато появилось обобщенное изображение явления, пропущенное через сознание автора и переданное нам, зрителям, в виде новой реальности. Весь творческий путь рождения и создания этого нового образа у фотохудожника аналогичен творческому процессу художника-живописца или графика. Отличает их друг от друга только технический арсенал, необходимый для создания художественного произведения.

Язык фотографии оказался чрезвычайно богатым и выразительным. Художественные образы, созданные этим методом, обладают особой достоверностью и жизненной убедительностью. Неудивительно, что многие художники поняли возможности, таившиеся в этом методе, и взяли его на вооружение.

Нодар Малазониа был среди них. Фотография стала ведущим средством в его работе над плакатами. Отношение Малазониа к фотографии отличается внутренней свободой и раскованностью. В зависимости от задачи и замысла фотография в его руках может быть то целью, то средством. В одних работах она используется в чистом виде, демонстрируя тот или иной фрагмент (пейзаж или архитектурный памятник и т. д.), в других преобразуется в новый графический образ, отличающийся острой выразительностью и убедительностью. К числу последних относится ряд афиш для театра

пантомимы. Художник очень точно почувствовал специфику этого вида театрального искусства. Пантомима говорит с нами языком мимики, жеста и позы. Отсутствующее слово заменяется чистой пластикой, которая должна передать нам всю смысловую информацию, заложенную в данном, конкретном зрелище. Вот почему пластика и жест актерского лица и тела достигают здесь вершины законченности и выразительности.

Для передачи этих особенностей пантомимы, для раскрытия ее главной сущности Нодар Малазониа избирает язык фотографии. Наибольшей удачей в этой серии является двойной плакат «Гастроли пантомимы». Художник снял актера, который держит в левой руке раскрытый зонтик, а в правой — маленький шарик. Съемка велась с нижней подсветкой лица. Поза актера на обоих кадрах остается без изменения, меняется только мимика лица. На первом плакате актер смеется, на втором — плачет. Перевод тоновой фотографии в черно-белую графику убрал из кадра все второстепенные детали и сконцентрировал все наше внимание на лице и руках актера. Выражение его лица обрело завершенность маски. Теперь перед нами уже не конкретный человек, а вечный символ двух классических направлений театрального искусства: комедии и трагедии. Общая композиция этого двойного плаката отличается четкостью. Зонтик в руках актера переходит в черное пространство в верхней части листов, на которых располагается крупный шрифт, данный вывороткой по фону. Белые буквы фразы «Гастроли пантомимы» не только хорошо читаются и привлекают к себе внимание, но и повторяют белые пятна в нижней части листа, замыкая, таким образом, всю композицию в единый ритм белого и черного.

Следующее направление в работах художника, крайне важное для понимания его творчества, принадлежит большой серии плакатов для Интуриста — «Посетите Грузию».

Обычно в плакатах этого типа используют варианты прямого показа. Красивая фотография или рисунок представляет нам пейзаж страны, вид города или какой-либо архитектурный памятник. Текстовая фраза приглашает посетить это место. Таким образом, зритель считывает с плаката прямую информацию, которая в своей действительности зависит от эмоциональности визуального образа.

Нодар Малазониа в работе над плакатом идет от создания своей концепции содержания листа. При этом для него

одинаково важны все элементы плаката, участвующие в раскрытии темы, как графическое изображение, так и текстовое содержание. Его работы демонстрируют нам тот самый интересный случай, когда художник является автором не только зрительного образа, но и рекламного текста плаката. Причем оба этих информативных канала невозможно разделить, настолько они органически слиты и не могут существовать друг без друга. Разрабатывая тему туризма, Малазониа отказался от привычного показа страны через ее обобщенный пейзаж, а стал искать детали и характерные особенности истории, быта и культуры, которые с наибольшей точностью могут подчеркнуть неповторимые стороны жизни именно этой земли и ее людей.

Его плакаты приглашают познакомиться со старым Тбилиси, отведать национальную грузинскую кухню, послушать старинные хоралы, осмотреть национальные кладовые... Для того, чтобы показать метод Нодара Малазониа более ясно, мне хочется остановиться на двух его работах обстоятельнее.

На листе — фотография Александра Дюма в национальном грузинском костюме — чохе и папахе. Фотография переведена в черно-белое графическое изображение и дана в окружении пышной орнаментальной рамы. Композиция в целом передает ощущение старинного портрета. Прямо под рамой рукописная фраза на французском языке и автограф писателя. «Грузинский народ любит дарить подарки...» Рекламный авторский текст гласит: «Посетите Грузию. Так же как Александр Дюма, вы будете приняты в нашей стране с ее легендарным гостеприимством». Остроумное, нестандартное решение основано на реальном факте посещения Грузии французским писателем, на фразе из его путевого дневника и документальной фотографии. Обработка исторического материала и удачно найденная рекламная фраза позволили художнику создать плакат, в котором рекламный смысл максимально прост и непосредственно направлен на потенциального туриста из Франции. Такой четкий расчет на конкретную аудиторию делает этот плакат крайне убедительным и функциональным.


В этом же ряду стоит плакат, рассчитанный на туристов из Англии. Напряженная по цвету, драматическая по образному решению фотография представляет зрителю известного грузинского актера Рамаза Чхиквадзе в роли Ричарда III из одноименной пьесы Шекспира. Рекламный текст внизу

год фотографией обращается к любителям театра: «Челли и джентльмены! Если вам не удалось посмотреть спектакль во время наших гастролов в Англии, Западной Германии, Мексике, Греции, Югославии, Франции, Италии, Швеции и Шотландии, не огорчайтесь! Приезжайте в Тбилиси и посмотрите его в драматическом театре имени Руставели...».

Связь обеих частей плаката настолько очевидна, что не нуждается в комментариях. Хочется только подчеркнуть, что значение текстовой фразы идет гораздо дальше ее формального содержания и несет в себе важный пропагандистский смысл.

Плакатные работы Нодара Малазониа заслуживают отдельного специального разговора. Не случайно его серия туристических плакатов (пять листов), представленная на XII Международном конкурсе туристического плаката стран Европы, Азии и Средиземноморья в г. Катания в 1978 году, завоевала две высшие награды выставки — «Золотого слона», присуждаемого жюри, и Серебряную медаль президента Италии, вручающуюся победителю после подсчета голосов посетителей.

Сейчас художник находится в расцвете творческих сил. Он много снимает (его интересуют возможности фотографии), находит новые пути в области рекламы, серьезно занимается монументальным искусством и постоянно ищет ясные образные системы, позволяющие говорить о современных проблемах современным пластическим языком.



ЗАСЕДАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ

В НОЯБРЕ 1985 года отмечается 90-летие со дня рождения выдающегося грузинского поэта Тициана Табидзе.

Состоялось заседание республиканской юбилейной комиссии. С сообщением о ходе подготовки к юбилею поэта выступили председатель правления Союза писателей Грузии Ш. Нишнианидзе, директор Музея дружбы народов Академии наук Грузинской ССР О. Тенешвили, директор Института истории грузинской литературы АН республики, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР Г. Цицишвили, заместитель председателя Госкомиздата Грузинской ССР А. Брегадзе, секретарь правления Союза писателей республики Р. Инанишвили, председатель Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии О. Нудия, первый заместитель министра культуры Грузинской ССР И. Гамрекели, заместитель заведующего отделом, заведующий сектором художественной литературы отдела культуры ЦК КП Грузии В. Алпенидзе и другие.

Юбилейные торжества состоятся в Тбилиси и родном районе писателя — Ванском. Торжественное заседание состоится в Тбилисском театре оперы и балета имени З. Палиашвили, в Литературном музее откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Т. Табидзе.

Издательства республики выпускают однотомник произведений поэта, книги воспоминаний современников о жизни и творчестве писателя. Одному из культурно-просветительных учреждений будет присвоено имя Тициана Табидзе.

К юбилею поэта в Вани откроется Дом-музей, а в Тбилиси — мемориальная квартира.

В газетах и журналах Грузии будут опубликованы статьи о выдающемся писателе-интернационалисте, телевидение готовит передачу о нем.

Итоги заседания юбилейной комиссии подвел секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе.

ИЗДАНО В ЧЕХОСЛОВАКИИ

«ЕГО называют: совесть». Так озаглавлен очерк о Нодаре Думбадзе, опубликованный в журнале «Свет социализму». «В глазах своих современников он был не только писателем, перу которого принадлежат романы, повести, рассказы (многие из которых поставлены на сцене, экранизированы), но и просто близким, родным человеком, другом, грузинской совестью в полном значении этого слова». Очерк сопровождается снимком финальной сцены из «Закона вечности», поставленного на братиславской «Новой сцене». «Закон вечности» и «Белые флаги» Н. Думбадзе изданы в переводе на словацкий язык.

Газета «Новые книги» откликнулась на опубликованный издательством «Словенски списоватељ» роман «Год активного солнца» Гурама Пан-

джикидзе рецензией, которая заканчивается словами: «Роман «Год активного солнца» можно после думбадзевого романа «Закон вечности» отнести не только к лучшему в грузинской литературе, но и в европейском контексте вообще». Другая книга Г. Панджикидзе «Три года жизни» («Камень чистой воды») вышла в братиславском издательстве «Обзор».

Вот какой аннотацией сопровождала эта же газета информацию о выпуске под заглавием «Сын луны» романа Чабуа Амирэджиби: «Историко-приключенческий роман о грузинском народном герое Дата Туташиа, чья жизнь освещена гуманизмом и в то же время не лишена человеческих слабостей, любви и трагизма. Захватывающий сюжет и яркий язык, противоречивая и одновременно сильная личность героя, описания колорита страны и национальных черт напоминают старые традиции грузинской литературы».

Издательством «Словенски списователъ» также издан поэтический сборник Григола Абашидзе «Три ореха». В издательской аннотации читаем: «Данный словацкий перевод показывает масштаб абашидзевого таланта и тематико-поэтическую ориентацию его поэзии. Поэт с большой идейно-художественной убедительностью и мастерством претворяет в ней богатые авто-

биографические впечатления, вынесенные из родного дома, а также из окружающего мира, черпает из природных и культурных источников, из прошлого и современности Грузии».

ДЕКАДА КНИГ БОЛГАРИИ

В СТОЛИЦЕ Грузии прошла выставка болгарской книги, посвященная 41-й годовщине социалистической революции в Болгарии. Вниманию тбилисцев были предложены книги 45 крупнейших издательств братской страны.

Выступивший на открытии выставки заместитель председателя Госкомиздата Грузинской ССР, управляющий республиканским книготорговым объединением «Сакцигни» Э. Сихарулидзе отметил, что литература Болгарии хорошо известна советскому читателю. Только в прошлом году в нашей стране было выпущено в свет 70 книг болгарских авторов тиражом около трех миллионов экземпляров.

На декаде был представлен широкий выбор книг классиков национальной литературы — Л. Каравелова, Е. Пелина, произведения современных писателей Д. Методиева, П. Вежинова, книги для детей и юношества, альбомы по искусству, медицинская и другая литература.

Сдано в набор 9.08.85 г. Подписано к печати 9.10.85 г. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 08121. Тираж 5600 экз. Заказ 1809. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Тел. 99-06-59.



Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

საქართველოს მწერთა კავშირი

65 к.

ИНДЕКС 76117

УДК 62-85
ББК 62.010.03

26-85

85-688

